## II

Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешимости на шоссе. Уже не в первый раз за полтора года своей офицерской службы испытывал он это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей, — это тоскливое чувство незнания, куда девать сегодняшний вечер. Мысли о своей квартире, об офицерском собрании были ему противны. В собрании теперь пустота; наверно, два подпрапорщика играют на скверном, маленьком бильярде, пьют пиво, курят и над каждым шаром ожесточенно божатся и сквернословят; в комнатах стоит застарелый запах плохого кухмистерского обеда — скучно!..

«Пойду на вокзал, — сказал сам себе Ромашов. — Все равно».

В бедном еврейском местечке не было ни одного ресторана. Клубы, как военный, так и гражданский, находились в самом жалком, запущенном виде, и поэтому вокзал служил единственным местом, куда обыватели ездили частенько покутить и встряхнуться и даже поиграть в карты. Ездили туда и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило маленьким разнообразием в глубокой скуке провинциальной жизни.

Ромашов любил ходить на вокзал по вечерам, к курьерскому поезду, который останавливался здесь в последний раз перед прусской границей. Со странным очарованием, взволнованно следил он, как к станции, стремительно выскочив из-за поворота, подлетал на всех парах этот поезд, состоявший всего из пяти новеньких, блестящих вагонов, как быстро росли и разгорались его огненные глаза, бросавшие вперед себя на рельсы светлые пятна, и как он, уже готовый проскочить станцию, мгновенно, с шипением и грохотом, останавливался — «точно великан, ухватившийся с разбега за скалу», — думал Ромашов. Из вагонов, сияющих насквозь веселыми праздничными огнями, выходили красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпах, в необыкновенно изящных костюмах, выходили штатские господа, прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими барскими голосами, с французским и немецким языком, с свободными жестами, с ленивым смехом. Никто из них никогда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова, но он видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь — вечный праздник и торжество…

Проходило восемь минут. Звенел звонок, свистел паровоз, и сияющий поезд отходил от станции. Торопливо тушились огни на перроне и в буфете. Сразу наступали темные будни. И Ромашов всегда подолгу с тихой, мечтательной грустью следил за красным фонариком, который плавно раскачивался сзади последнего вагона, уходя во мрак ночи и становясь едва заметной искоркой.

«Пойду на вокзал», — подумал Ромашов. Но тотчас же он поглядел на свои калоши и покраснел от колючего стыда. Это были тяжелые резиновые калоши в полторы четверти глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, черной грязью. Такие калоши носили все офицеры в полку. Потом он посмотрел на свою шинель, обрезанную, тоже ради грязи, по колени, с висящей внизу бахромой, с засаленными и растянутыми петлями, и вздохнул. На прошлой неделе, когда он проходил по платформе мимо того же курьерского поезда, он заметил высокую, стройную, очень красивую даму в черном платье, стоявшую в дверях вагона первого класса. Она была без шляпы, и Ромашов быстро, но отчетливо успел разглядеть ее тонкий, правильный нос, прелестные маленькие и полные губы и блестящие черные волнистые волосы, которые от прямого пробора посредине головы спускались вниз к щекам, закрывая виски, концы бровей и уши. Сзади нее, выглядывая из-за ее плеча, стоял рослый молодой человек в светлой паре, с надменным лицом и с усами вверх, как у императора Вильгельма, даже похожий несколько на Вильгельма. Дама тоже посмотрела на Ромашова, и, как ему показалось, посмотрела пристально, со вниманием, и, проходя мимо нее, подпоручик подумал, по своему обыкновению: «Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на стройной, худощавой фигуре молодого офицера». Но когда, пройдя десять шагов, Ромашов внезапно обернулся назад, чтобы еще раз встретить взгляд красивой дамы, он увидел, что и она и ее спутник с увлечением смеются, глядя ему вслед. Тогда Ромашов вдруг с поразительной ясностью и как будто со стороны представил себе самого себя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность и неловкость, вспомнил свою только что сейчас подуманную красивую фразу и покраснел мучительно, до острой боли, от нестерпимого стыда. И даже теперь, идя один в полутьме весеннего вечера, он опять еще раз покраснел от стыда за этот прошлый стыд.

— Нет, куда уж на вокзал, — прошептал с горькой безнадежностью Ромашов.

— Похожу немного, а потом домой…

Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для глаза. Тополи, окаймлявшие шоссе, белые, низкие домики с черепичными крышами по сторонам дороги, фигуры редких прохожих — все почернело, утратило цвета и перспективу; все предметы обратились в черные плоские силуэты, но очертания их с прелестной четкостью стояли в смуглом воздухе. На западе за городом горела заря. Точно в жерло раскаленного, пылающего жидким золотом вулкана сваливались тяжелые сизые облака и рдели кроваво-красными, и янтарными, и фиолетовыми огнями. А над вулканом поднималось куполом вверх, зеленея бирюзой и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо.

Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный пожар. Как и всегда, с самого детства, ему чудилась за яркой вечерней зарей какая-то таинственная, светозарная жизнь. Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пылал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепительно-прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском мостовые из золотых плиток, возвышались причудливые купола и башни с пурпурными крышами, сверкали брильянты в окнах, трепетали в воздухе яркие разноцветные флаги. И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похожа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже грусть — очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и фонтанами, ходят, богоподобные, светлые, полные неописуемой радости, не знающие преград в счастии и желаниях, не омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой…

Неожиданно вспомнилась Ромашову недавняя сцена на плацу, грубые крики полкового командира, чувство пережитой обиды, чувство острой и в то же время мальчишеской неловкости перед солдатами. Всего больнее было для него то, что на него кричали совсем точно так же, как и он иногда кричал на этих молчаливых свидетелей его сегодняшнего позора, и в этом сознании было что-то уничтожавшее разницу положений, что-то принижавшее его офицерское и, как он думал, человеческое достоинство.

И в нем тотчас же, точно в мальчике, — в нем и в самом деле осталось еще много ребяческого, — закипели мстительные, фантастические, опьяняющие мечты. «Глупости! Вся жизнь передо мной! — думал Ромашов, и, в увлечении своими мыслями, он зашагал бодрее и задышал глубже. — Вот, назло им всем, завтра же с утра засяду за книги, подготовлюсь и поступлю в академию. Труд! О, трудом можно сделать все, что захочешь. Взять только себя в руки. Буду зубрить, как бешеный… И вот, неожиданно для всех, я выдерживаю блистательно экзамен. И тогда наверно все они скажут: „Что же тут такого удивительного? Мы были заранее в этом уверены. Такой способный, милый, талантливый молодой человек“».

И Ромашов поразительно живо увидел себя ученым офицером генерального штаба, подающим громадные надежды… Имя его записано в академии на золотую доску. Профессора сулят ему блестящую будущность, предлагают остаться при академии, но — нет — он идет в строи. Надо отбывать срок командования ротой. Непременно, уж непременно в своем полку. Вот он приезжает сюда — изящный, снисходительно-небрежный, корректный и дерзко-вежливый, как те офицеры генерального штаба, которых он видел на прошлогодних больших маневрах и на съемках. От общества офицеров он сторонится. Грубые армейские привычки, фамильярность, карты, попойки — нет, это не для него: он помнит, что здесь только этап на пути его дальнейшей карьеры и славы.

Вот начались маневры. Большой двухсторонний бой. Полковник Шульгович не понимает диспозиции, путается, суетит людей и сам суетится, — ему уже делал два раза замечание через ординарцев командир корпуса. «Ну, капитан, выручайте, — обращается он к Ромашову. — Знаете, по старой дружбе. Помните, хе-хе-хе, как мы с вами ссорились! Уж, пожалуйста». Лицо сконфуженное и заискивающее. Но Ромашов, безукоризненно отдавая честь и подавшись вперед на седле, отвечает с спокойно-высокомерным видом: «Виноват, господин полковник… Это — ваша обязанность распоряжаться передвижениями полка. Мое дело — принимать приказания и исполнять их…» А уж от командира корпуса летит третий ординарец с новым выговором.

Блестящий офицер генерального штаба Ромашов идет все выше и выше по пути служебной карьеры… Вот вспыхнуло возмущение рабочих на большом сталелитейном заводе. Спешно вытребована рота Ромашова. Ночь, зарево пожара, огромная воющая толпа, летят камни… Стройный, красивый капитан выходит вперед роты. Это — Ромашов. «Братцы, — обращается он к рабочим, — в третий и последний раз предупреждаю, что буду стрелять!..» Крики, свист, хохот… Камень ударяет в плечо Ромашову, но его мужественное, открытое лицо остается спокойным. Он поворачивается назад, к солдатам, у которых глаза пылают гневом, потому что обидели их обожаемого начальника. «Прямо по толпе, пальба ротою… Рота-а, пли!..» Сто выстрелов сливаются в один… Рев ужаса. Десятки мертвых и раненых валятся в кучу… Остальные бегут в беспорядке, некоторые становятся на колени, умоляя о пощаде. Бунт усмирен. Ромашова ждет впереди благодарность начальства и награда за примерное мужество.

А там война… Нет, до войны лучше Ромашов поедет военным шпионом в Германию. Изучит немецкий язык до полного совершенства и поедет. Какая упоительная отвага! Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шарманкой за плечами. Обязательно с шарманкой. Ходит из города в город, вертит ручку шарманки, собирает пфенниги, притворяется дураком и в то же время потихоньку снимает планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Кругом вечная опасность. Свое правительство отступилось от него, он вне законов. Удастся ему достать ценные сведения — у него деньги, чины, положение, известность, нет — его расстреляют без суда, без всяких формальностей, рано утром во рву какого-нибудь косого капонира. Вот ему сострадательно предлагают завязать глаза косынкой, но он с гордостью швыряет ее на землю. «Разве вы думаете, что настоящий офицер боится поглядеть в лицо смерти?» Старый полковник говорит участливо: «Послушайте, вы молоды, мой сын в таком же возрасте, как и вы. Назовите вашу фамилию, назовите только вашу национальность, и мы заменим вам смертную казнь заключением». Но Ромашов перебивает его с холодной вежливостью: «Это напрасно, полковник, благодарю вас. Делайте свое дело». Затем он обращается ко взводу стрелков. «Солдаты, — говорит он твердым голосом, конечно, по-немецки, — прошу вас о товарищеской услуге: цельтесь в сердце!» Чувствительный лейтенант, едва скрывая слезы, машет белым платком. Залп…

Эта картина вышла в воображении такой живой и яркой, что Ромашов, уже давно шагавший частыми, большими шагами и глубоко дышавший, вдруг задрожал и в ужасе остановился на месте со сжатыми судорожно кулаками и бьющимся сердцем. Но тотчас же, слабо и виновато улыбнувшись самому себе в темноте, он съежился и продолжал путь.

Но скоро быстрые, как поток, неодолимые мечты опять овладели им. Началась ожесточенная, кровопролитная война с Пруссией и Австрией. Огромное поле сражения, трупы, гранаты, кровь, смерть! Это генеральный бой, решающий всю судьбу кампании. Подходят последние резервы, ждут с минуты на минуту появления в тылу неприятеля обходной русской колонны. Надо выдержать ужасный натиск врага, надо отстояться во что бы то ни стало. И самый страшный огонь, самые яростные усилия неприятеля направлены на Керенский полк. Солдаты дерутся, как львы, они ни разу не поколебались, хотя ряды их с каждой секундой тают под градом вражеских выстрелов. Исторический момент! Продержаться бы еще минуту, две — и победа будет вырвана у противника. Но полковник Шульгович в смятении; он храбр — это бесспорно, но его нервы не выдерживают этого ужаса. Он закрывает глаза, содрогается, бледнеет… Вот он уже сделал знак горнисту играть отступление, вот уже солдат приложил рожок к губам, но в эту секунду из-за холма на взмыленной арабской лошади вылетает начальник дивизионного штаба, полковник Ромашов. «Полковник, не сметь отступать! Здесь решается судьба России!..» Шульгович вспыхивает: «Полковник! Здесь я командую, и я отвечаю перед богом и государем! Горнист, отбой!» Но Ромашов уже выхватил из рук трубача рожок. «Ребята, вперед! Царь и родина смотрят на вас! Ура!» Бешено, с потрясающим криком ринулись солдаты вперед, вслед за Ромашовым. Все смешалось, заволоклось дымом, покатилось куда-то в пропасть. Неприятельские ряды дрогнули и отступают в беспорядке. А сзади их, далеко за холмами, уже блестят штыки свежей, обходной колонны. «Ура, братцы, победа!..»

Ромашов, который теперь уже не шел, а бежал, оживленно размахивая руками, вдруг остановился и с трудом пришел в себя. По его спине, по рукам и ногам, под одеждой, по голому телу, казалось, бегали чьи-то холодные пальцы, волосы на голове шевелились, глаза резало от восторженных слез. Он и сам не заметил, как дошел до своего дома, и теперь, очнувшись от пылких грез, с удивлением глядел на хорошо знакомые ему ворота, на жидкий фруктовый сад за ними и на белый крошечный флигелек в глубине сада.

— Какие, однако, глупости лезут в башку! — прошептал он сконфуженно. И его голова робко ушла в приподнятые кверху плечи.

## IV

На дворе стояла совершенно черная, непроницаемая ночь, так что сначала Ромашову приходилось, точно слепому, ощупывать перед собой дорогу. Ноги его в огромных калошах уходили глубоко в густую, как рахат-лукум, грязь и вылезали оттуда со свистом и чавканьем. Иногда одну из калош засасывало так сильно, что из нее выскакивала нога, и тогда Ромашову приходилось, балансируя на одной ноге, другой ногой впотьмах наугад отыскивать исчезнувшую калошу.

Местечко точно вымерло, даже собаки не лаяли. Из окон низеньких белых домов кое-где струился туманными прямыми полосами свет и длинными косяками ложился на желто-бурую блестящую землю. Но от мокрых и липких заборов, вдоль которых все время держался Ромашов, от сырой коры тополей, от дорожной грязи пахло чем-то весенним, крепким, счастливым, чем-то бессознательно и весело раздражающим. Даже сильный ветер, стремительно носившийся по улицам, дул по-весеннему неровно, прерывисто, точно вздрагивая, путаясь и шаля.

Перед домом, который занимали Николаевы, подпоручик остановился, охваченный минутной слабостью и колебанием. Маленькие окна были закрыты плотными коричневыми занавесками, но за ними чувствовался ровный, яркий свет. В одном месте портьера загнулась, образовав длинную, узкую щель. Ромашов припал головой к стеклу, волнуясь и стараясь дышать как можно тише, точно его могли услышать в комнате.

Он увидел лицо и плечи Александры Петровны, сидевшей глубоко и немного сгорбившись на знакомом диване из зеленого рипса. По этой позе и по легким движениям тела, по опущенной низко голове видно было, что она занята рукодельем.

Вот она внезапно выпрямилась, подняла голову кверху и глубоко передохнула… Губы ее шевелятся… «Что она говорит? — думал Ромашов. — Вот улыбнулась. Как это странно — глядеть сквозь окно на говорящего человека и не слышать его!»

Улыбка внезапно сошла с лица Александры Петровны, лоб нахмурился. Опять быстро, с настойчивым выражением зашевелились губы, и вдруг опять улыбка — шаловливая и насмешливая. Вот покачала головой медленно и отрицательно. «Может быть, это про меня?» — робко подумал Ромашов. Чем-то тихим, чистым, беспечно-спокойным веяло на него от этой молодой женщины, которую он рассматривал теперь, точно нарисованную на какой-то живой, милой давно знакомой картине. «Шурочка!» — прошептал Ромашов нежно.

Александра Петровна неожиданно подняла лицо от работы и быстро, с тревожным выражением повернула его к окну. Ромашову показалось, что она смотрит прямо ему в глаза. У него от испуга сжалось и похолодело сердце, и он поспешно отпрянул за выступ стены. На одну минуту ему стало совестно. Он уже почти готов был вернуться домой, но преодолел себя и через калитку прошел в кухню.

В то время как денщик Николаевых снимал с него грязные калоши и очищал ему кухонной тряпкой сапоги, а он протирал платком запотевшие в тепле очки, поднося их вплотную к близоруким глазам, из гостиной послышался звонкий голос Александры Петровны:

— Степан, это приказ принесли?

«Это она нарочно! — подумал, точно казня себя, подпоручик. — Знает ведь, что я всегда в такое время прихожу».

— Нет, это я, Александра Петровна! — крикнул он в дверь фальшивым голосом.

— А! Ромочка! Ну, входите, входите. Чего вы там застряли? Володя, это Ромашов пришел.

Ромашов вошел, смущенно и неловко сгорбившись и без нужды потирая руки.

— Воображаю, как я вам надоел, Александра Петровна.

Он сказал это, думая, что у него выйдет весело и развязно, но вышло неловко и, как ему тотчас же показалось, страшно неестественно.

— Опять за глупости! — воскликнула Александра Петровна. — Садитесь, будем чай пить.

Глядя ему в глаза внимательно и ясно, она, по обыкновению энергично пожала своей маленькой, теплой и мягкой рукой его холодную руку.

Николаев сидел спиной к ним, у стола, заваленного книгами атласами и чертежами. Он в этом году должен был держать экзамен в академию генерального штаба и весь год упорно, без отдыха готовился к нему. Это был уже третий экзамен, так как два года подряд он проваливался.

Не оборачиваясь назад, глядя в раскрытую перед ним книгу, Николаев протянул Ромашову руку через плечо и сказал спокойным, густым голосом:

— Здравствуйте, Юрий Алексеич. Новостей нет? Шурочка! Дай ему чаю. Уж простите меня, я занят.

«Конечно, я напрасно пришел, — опять с отчаянием подумал Ромашов. — О, я дурак!»

— Нет, какие же новости… Центавр разнес в собрании подполковника Леха. Тот был совсем пьян, говорят. Везде в ротах требует рубку чучел… Епифана закатал под арест.

— Да? — рассеянно переспросил Николаев. — Скажите пожалуйста.

— Мне тоже влетело — на четверо суток… Одним словом; новости старые.

Ромашову казалось, что голос у него какой-то чужой и такой сдавленный, точно в горле что-то застряло. «Каким я, должно быть, кажусь жалким!» — подумал он, но тотчас же успокоил себя тем обычным приемом, к которому часто прибегают застенчивые люди: «Ведь это всегда, когда конфузишься, то думаешь, что все это видят, а на самом деле только тебе это заметно, а другим вовсе нет».

Он сел на кресло рядом с Шурочкой, которая, быстро мелькая крючком, вязала какое-то кружево. Она никогда не сидела без дела, и все скатерти, салфеточки, абажуры и занавески в доме были связаны ее руками.

Ромашов осторожно взял пальцами нитку, шедшую от клубка к ее руке, и спросил:

— Как называется это вязанье?

— Гипюр. Вы в десятый раз спрашиваете.

Шурочка вдруг быстро, внимательно взглянула на подпоручика и так же быстро опустила глаза на вязанье. Но сейчас же опять подняла их и засмеялась.

— Да вы ничего, Юрий Алексеич… вы посидите и оправьтесь немного. «Оправьсь!» — как у вас командуют.

Ромашов вздохнул и покосился на могучую шею Николаева, резко белевшую над воротником серой тужурки.

— Счастливец Владимир Ефимыч, — сказал он. — Вот летом в Петербург поедет… в академию поступит.

— Ну, это еще надо посмотреть! — задорно, по адресу мужа, воскликнула Шурочка. — Два раза с позором возвращались в полк. Теперь уж в последний.

Николаев обернулся назад. Его воинственное и доброе лицо с пушистыми усами покраснело, а большие, темные, воловьи глаза сердито блеснули.

— Не болтай глупостей, Шурочка! Я сказал: выдержу — и выдержу. — Он крепко стукнул ребром ладони по столу. — Ты только сидишь и каркаешь. Я сказал!..

— Я сказал! — передразнила его жена и тоже, как и он, ударила маленькой смуглой ладонью по колену. — А ты вот лучше скажи-ка мне, каким условиям должен удовлетворять боевой порядок части? Вы знаете, — бойко и лукаво засмеялась она глазами Ромашову, — я ведь лучше его тактику знаю. Ну-ка, ты, Володя, офицер генерального штаба, — каким условиям?

— Глупости, Шурочка, отстань, — недовольно буркнул Николаев.

Но вдруг он вместе со стулом повернулся к жене, и в его широко раскрывшихся красивых и глуповатых глазах показалось растерянное недоумение, почти испуг.

— Постой, девочка, а ведь я и в самом деле не все помню. Боевой порядок? Боевой порядок должен быть так построен, чтобы он как можно меньше терял от огня, потом, чтобы было удобно командовать… Потом… постой…

— За постой деньги платят, — торжествующе перебила Шурочка.

И она заговорила скороговоркой, точно первая ученица, опустив веки и покачиваясь:

— Боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособляемости к местности; он должен возможно меньше терпеть от огня, легко свертываться и развертываться и быстро переходить в походный порядок… Все!..

Она открыла глаза, с трудом перевела дух и, обратив смеющееся, подвижное лицо к Ромашову, спросила:

— Хорошо?

— Черт, какая память! — завистливо, но с восхищением произнес Николаев, углубляясь в свои тетрадки.

— Мы ведь все вместе, — пояснила Шурочка. — Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное, — она ударила по воздуху вязальным крючком, — самое главное — система. Наша система — это мое изобретение, моя гордость. Ежедневно мы проходим кусок из математики, кусок из военных наук — вот артиллерия мне, правда, не дается: все какие-то противные формулы, особенно в баллистике, — потом кусочек из уставов. Затем через день оба языка и через день география с историей.

— А русский? — спросил Ромашов из вежливости.

— Русский? Это — пустое. Правописание по Гроту мы уже одолели. А сочинения ведь известно какие. Одни и те же каждый год. «Para pacem, para bellum». «Характеристика Онегина в связи с его эпохой»…

И вдруг, вся оживившись, отнимая из рук подпоручика нитку как бы для того, чтобы его ничто не развлекало, она страстно заговорила о том, что составляло весь интерес, всю главную суть ее теперешней жизни.

— Я не могу, не могу здесь оставаться, Ромочка! Поймите меня! Остаться здесь — это значит опуститься, стать полковой дамой, ходить на ваши дикие вечера, сплетничать, интриговать и злиться по поводу разных суточных и прогонных… каких-то грошей!.. бррр… устраивать поочередно с приятельницами эти пошлые «балки», играть в винт… Вот, вы говорите, у нас уютно. Да посмотрите же, ради бога, на это мещанское благополучие! Эти филе и гипюрчики — я их сама связала, это платье, которое я сама переделывала, этот омерзительный мохнатенький ковер из кусочков… все это гадость, гадость! Поймите же, милый Ромочка, что мне нужно общество, большое, настоящее общество, свет, музыка, поклонение, тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете, Володя пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб, и — клянусь — я ему сделаю блестящую карьеру. Я знаю языки, я сумею себя держать в каком угодно обществе, во мне есть — я не знаю, как это выразить, — есть такая гибкость души, что я всюду найдусь, ко всему сумею приспособиться… Наконец, Ромочка, поглядите на меня, поглядите внимательно. Неужели я уж так неинтересна как человек и некрасива как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте!

И она, поспешно закрыв лицо платком, вдруг расплакалась злыми, самолюбивыми, гордыми слезами.

Муж, обеспокоенный, с недоумевающим и растерянным видом, тотчас же подбежал к ней. Но Шурочка уже успела справиться с собой и отняла платок от лица. Слез больше не было, хотя глаза ее еще сверкали злобным, страстным огоньком.

— Ничего, Володя, ничего, милый, — отстранила она его рукой.

И, уже со смехом обращаясь к Ромашову и опять отнимая у него из рук нитку, она спросила с капризным и кокетливым смехом:

— Отвечайте же, неуклюжий Ромочка, хороша я или нет? Если женщина напрашивается на комплимент, то не ответить ей — верх невежливости!

— Шурочка, ну как тебе не стыдно, — рассудительно произнес с своего места Николаев.

Ромашов страдальчески-застенчиво улыбнулся, но вдруг ответил чуть-чуть задрожавшим голосом, серьезно и печально:

— Очень красивы!..

Шурочка крепко зажмурила глаза и шаловливо затрясла головой, так что разбившиеся волосы запрыгали у нее по лбу.

— Ро-омочка, какой вы смешно-ой! — пропела она тоненьким детским голоском.

А подпоручик, покраснев, подумал про себя, по обыкновению: «Его сердце было жестоко разбито…»

Все помолчали. Шурочка быстро мелькала крючком. Владимир Ефимович, переводивший на немецкий язык фразы из самоучителя Туссена и Лангеншейдта, тихонько бормотал их себе под нос. Слышно было, как потрескивал и шипел огонь в лампе, прикрытой желтым шелковым абажуром в виде шатра. Ромашов опять завладел ниткой и потихоньку, еле заметно для самого себя, потягивал ее из рук молодой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопротивлялись его осторожным усилиям. Казалось, что какой-то таинственный, связывающий и волнующий ток струился по этой нитке.

В то же время он сбоку, незаметно, но неотступно глядел на ее склоненную вниз голову и думал, едва-едва шевеля губами, произнося слова внутри себя, молчаливым шепотом, точно ведя с Шурочкой интимный и чувственный разговор:

«Как она смело спросила; хороша ли я? О! Ты прекрасна! Милая! Вот я сижу и гляжу на тебя — какое счастье! Слушай же: я расскажу тебе, как ты красива. Слушай. У тебя бледное и смуглое лицо. Страстное лицо. И на нем красные, горящие губы — как они должны целовать! — и глаза, окруженные желтоватой тенью… Когда ты смотришь прямо, то белки твоих глаз чуть-чуть голубые, а в больших зрачках мутная, глубокая синева. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское. Но зато твои волосы так чисты и тонки и сходятся сзади в узел с таким аккуратным, наивным и деловитым выражением, что хочется тихонько потрогать их пальцами. Ты маленькая, ты легкая, я бы поднял тебя на руки, как ребенка. Но ты гибкая и сильная, у тебя грудь, как у девушки, и ты вся — порывистая, подвижная. На левом ухе, внизу, у тебя маленькая родинка, точно след от сережки, — это прелестно!..»

— Вы не читали в газетах об офицерском поединке? — спросила вдруг Шурочка.

Ромашов встрепенулся и с трудом отвел от нее глаза.

— Нет, не читал. Но слышал. А что?

— Конечно, вы, по обыкновению, ничего не читаете. Право, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. По-моему, вышло что-то нелепое. Я понимаю: поединки между офицерами — необходимая и разумная вещь. — Шурочка убедительно прижала вязанье к груди. — Но зачем такая бестактность? Подумайте: один поручик оскорбил другого. Оскорбление тяжелое, и общество офицеров постановляет поединок. Но дальше идет чепуха и глупость. Условия — прямо вроде смертной казни: пятнадцать шагов дистанции и драться до тяжелой раны… Если оба противника стоят на ногах, выстрелы возобновляются. Но ведь это — бойня, это… я не знаю что! Но, погодите, это только цветочки. На место дуэли приезжают все офицеры полка, чуть ли даже не полковые дамы, и даже где-то в кустах помещается фотограф. Ведь это ужас, Ромочка! И несчастный подпоручик, фендрик, как говорит Володя, вроде вас, да еще вдобавок обиженный, а не обидчик, получает после третьего выстрела страшную рану в живот и к вечеру умирает в мучениях. А у него, оказывается, была старушка мать и сестра, старая барышня, которые с ним жили, вот как у нашего Михина… Да послушайте же: для чего, кому нужно было делать из поединка такую кровавую буффонаду? И это, заметьте, на самых первых порах, сейчас же после разрешения поединков. И вот поверьте мне, поверьте! — воскликнула Шурочка, сверкая загоревшимися глазами, — сейчас же сентиментальные противники офицерских дуэлей, — о, я знаю этих презренных либеральных трусов! — сейчас же они загалдят: «Ах, варварство! Ах, пережиток диких времен! Ах, братоубийство!»

— Однако вы кровожадны, Александра Петровна! — вставил Ромашов.

— Не кровожадна, — нет! — резко возразила она. — Я жалостлива. Я жучка, который мне щекочет шею, сниму и постараюсь не сделать ему больно. Но, попробуйте понять, Ромашов, здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны. Что для войны раньше всего требуется? Смелость, гордость, уменье не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются в мирное время? В дуэлях. Вот и все. Кажется, ясно. Именно не французским офицерам необходимы поединки, — потому что понятие о чести, да еще преувеличенное, в крови у каждого француза, — не немецким, — потому что от рождения все немцы порядочны и дисциплинированны, — а нам, нам, нам! Тогда у нас не будет в офицерской среде карточных шулеров, как Арчаковский, или беспросыпных пьяниц, вроде вашего Назанского; тогда само собой выведется амикошонство, фамильярное зубоскальство в собрании, при прислуге, это ваше взаимное сквернословие, пускание в голову друг другу графинов, с целью все-таки не попасть, а промахнуться. Тогда вы не будете за глаза так поносить друг друга. У офицера каждое слово должно быть взвешено. Офицер — это образец корректности. И потом, что за нежности: боязнь выстрела! Ваша профессия — рисковать жизнью. Ах, да что!

Она капризно оборвала свою речь и с сердцем ушла в работу. Опять стало тихо.

— Шурочка, как перевести по-немецки — соперник? — спросил Николаев, подымая голову от книги.

— Соперник? — Шурочка задумчиво потрогала крючком пробор своих мягких волос. — А скажи всю фразу.

— Тут сказано… сейчас, сейчас… Наш заграничный соперник…

— Unser auslandischer Nebenbuhler, — быстро, тотчас же перевела Шурочка.

— Унзер, — повторил шепотом Ромашов, мечтательно заглядевшись на огонь лампы. «Когда ее что-нибудь взволнует, — подумал он, — то слова у нее вылетают так стремительно, звонко и отчетливо, точно сыплется дробь на серебряный поднос». Унзер — какое смешное слово… Унзер, унзер, унзер…

— Что вы шепчете, Ромочка? — вдруг строго спросила Александра Петровна.

— Не смейте бредить в моем присутствии.

Он улыбнулся рассеянной улыбкой.

— Я не брежу… Я все повторял про себя: унзер, унзер. Какое смешное слово…

— Что за глупости… Унзер? Отчего смешное?

— Видите ли… — Он затруднялся, как объяснить свою мысль. — Если долго повторять какое-нибудь одно слово и вдумываться в него, то оно вдруг потеряет смысл и станет таким… как бы вам сказать?..

— Ах, знаю, знаю! — торопливо и радостно перебила его Шурочка. — Но только это теперь не так легко делать, а вот раньше, в детстве, — ах как это было забавно!..

— Да, да, именно в детстве. Да.

— Как же, я отлично помню. Даже помню слово, которое меня особенно поражало: «может быть». Я все качалась с закрытыми глазами и твердила: «Может быть, может быть…» И вдруг — совсем позабывала, что оно значит, потом старалась — и не могла вспомнить. Мне все казалось, будто это какое-то коричневое, красноватое пятно с двумя хвостиками. Правда ведь?

Ромашов с нежностью поглядел на нее.

— Как это странно, что у нас одни и те же мысли, — сказал он тихо. — А унзер, понимаете, это что-то высокое-высокое, что-то худощавое и с жалом. Вроде как какое-то длинное, тонкое насекомое, и очень злое.

— Унзер? — Шурочка подняла голову и, прищурясь, посмотрела вдаль, в темный угол комнаты, стараясь представить себе то, о чем говорил Ромашов.

— Нет, погодите: это что-то зеленое, острое. Ну да, ну да, конечно же — насекомое! Вроде кузнечика, только противнее и злее… Фу, какие мы с вами глупые, Ромочка.

— А то вот еще бывает, — начал таинственно Ромашов, — и опять-таки в детстве это было гораздо ярче. Произношу я какое-нибудь слово и стараюсь тянуть его как можно дольше. Растягиваю бесконечно каждую букву. И вдруг на один момент мне сделается так странно, странно, как будто бы все вокруг меня исчезло. И тогда мне делается удивительно, что это я говорю, что я живу, что я думаю.

— О, я тоже это знаю! — весело подхватила Шурочка. — Но только не так. Я, бывало, затаиваю дыхание, пока хватит сил, и думаю: вот я не дышу, и теперь еще не дышу, и вот до сих пор, и до сих, и до сих… И тогда наступало это странное. Я чувствовала, как мимо меня проходило время. Нет, это не то: может быть, вовсе времени не было. Это нельзя объяснить.

Ромашов глядел на нее восхищенными глазами и повторял глухим, счастливым, тихим голосом:

— Да, да… этого нельзя объяснить… Это странно… Это необъяснимо…

— Ну, однако, господа психологи, или как вас там, довольно, пора ужинать, — сказал Николаев, вставая со стула.

От долгого сиденья у него затекли ноги и заболела спина. Вытянувшись во весь рост, он сильно потянулся вверх руками и выгнул грудь, и все его большое, мускулистое тело захрустело в суставах от этого мощного движения.

В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещенной висячей фарфоровой матово-белой лампой, была накрыта холодная закуска. Николаев не пил, но для Ромашова был поставлен графинчик с водкой. Собрав свое милое лицо в брезгливую гримасу, Шурочка спросила небрежно, как она и часто спрашивала:

— Вы, конечно, не можете без этой гадости обойтись?

Ромашов виновато улыбнулся и от замешательства поперхнулся водкой и закашлялся.

— Как вам не совестно! — наставительно заметила хозяйка. — Еще и пить не умеете, а тоже… Я понимаю, вашему возлюбленному Назанскому простительно, он отпетый человек, но вам-то зачем? Молодой такой, славный, способный мальчик, а без водки не сядете за стол… Ну зачем? Это все Назанский вас портит.

Ее муж, читавший в это время только что принесенный приказ, вдруг воскликнул:

— Ах, кстати: Назанский увольняется в отпуск на один месяц по домашним обстоятельствам. Тю-тю-у! Это значит — запил. Вы, Юрий Алексеич, наверно, его видели? Что он, закурил?

Ромашов смущенно заморгал веками.

— Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет…

— Ваш Назанский — противный! — с озлоблением, сдержанным низким голосом сказала Шурочка. — Если бы от меня зависело, я бы этаких людей стреляла, как бешеных собак. Такие офицеры — позор для полка, мерзость!

Тотчас же после ужина Николаев, который ел так же много и усердно, как и занимался своими науками, стал зевать и, наконец, откровенно заметил:

— Господа, а что, если бы на минутку пойти поспать? «Соснуть», как говорилось в старых добрых романах.

— Это совершенно справедливо, Владимир Ефимыч, — подхватил Ромашов с какой-то, как ему самому показалось, торопливой и угодливой развязностью. В то же время, вставая из-за стола, он подумал уныло: «Да, со мной здесь не церемонятся. И только зачем я лезу?»

У него было такое впечатление, как будто Николаев с удовольствием выгоняет его из дому. Но тем не менее, прощаясь с ним нарочно раньше, чем с Шурочкой, он думал с наслаждением, что вот сию минуту он почувствует крепкое и ласкающее пожатие милой женской руки. Об этом он думал каждый раз уходя. И когда этот момент наступил, то он до такой степени весь ушел душой в это очаровательное пожатие, что не слышал, как Шурочка сказала ему:

— Вы, смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады. Чем пьянствовать со своим Назанским, сидите лучше у нас. Только помните: мы с вами не церемонимся.

Он услышал эти слова в своем сознании и понял их, только выйдя на улицу.

— Да, со мной не церемонятся, — прошептал он с той горькой обидчивостью, к которой так болезненно склонны молодые и самолюбивые люди его возраста.

## VI

За исключением немногих честолюбцев и карьеристов, все офицеры несли службу как принудительную, неприятную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее. Младшие офицеры, совсем по-школьнически, опаздывали на занятия и потихоньку убегали с них, если знали, что им за это не достанется. Ротные командиры, большею частью люди многосемейные, погруженные в домашние дрязги и в романы своих жен, придавленные жестокой бедностью и жизнью сверх средств, кряхтели под бременем непомерных расходов и векселей. Они строили заплату на заплате, хватая деньги в одном месте, чтобы заткнуть долг в другом; многие из них решались — и чаще всего по настоянию своих жен — заимствовать деньги из ротных сумм или из платы, приходившейся солдатам за вольные работы; иные по месяцам и даже годам задерживали денежные солдатские письма, которые они, по правилам, должны были распечатывать. Некоторые только и жили, что винтом, штосом и ландскнехтом: кое-кто играл нечисто, — об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. При этом все сильно пьянствовали как в собрании, так и в гостях друг у друга, иные же, вроде Сливы, — в одиночку.

Таким образом, офицерам даже некогда было серьезно относиться к своим обязанностям. Обыкновенно весь внутренний механизм роты приводил в движение и регулировал фельдфебель; он же вел всю канцелярскую отчетность и держал ротного командира незаметно, но крепко, в своих жилистых, многоопытных руках. На службу ротные ходили с таким же отвращением, как и субалтерн-офицеры, и «подтягивали фендриков» только для соблюдения престижа, а еще реже из властолюбивого самодурства.

Батальонные командиры ровно ничего не делали, особенно зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания — батальонного и бригадного командиров: начальники эти всегда находятся в самом неопределенном и бездеятельном положении. Летом им все-таки приходилось делать батальонные учения, участвовать в полковых и дивизионных занятиях и нести трудности маневров. В свободное же время они сидели в собрании, с усердием читали «Инвалид» и спорили о чинопроизводстве, играли в карты, позволяли охотно младшим офицерам угощать себя, устраивали у себя на домах вечеринки и старались выдавать своих многочисленных дочерей замуж.

Однако перед большими смотрами все, от мала до велика, подтягивались и тянули друг друга. Тогда уже не знали отдыха, наверстывая лишними часами занятий и напряженной, хотя и бестолковой энергией то, что было пропущено. С силами солдат не считались, доводя людей до изнурения. Ротные жестоко резали и осаживали младших офицеров, младшие офицеры сквернословили неестественно, неумело и безобразно, унтер-офицеры, охрипшие от ругани, жестоко дрались. Впрочем, дрались и не одни только унтер-офицеры.

Такие дни бывали настоящей страдой, и о воскресном отдыхе с лишними часами сна мечтал, как о райском блаженстве, весь полк, начиная с командира до последнего затрепанного и замурзанного денщика.

Этой весной в полку усиленно готовились к майскому параду. Стало наверно известным, что смотр будет производить командир корпуса, взыскательный боевой генерал, известный в мировой военной литературе своими записками о войне карлистов и о франко-прусской кампании 1870 года, в которых он участвовал в качестве волонтера. Еще более широкою известностью пользовались его приказы, написанные в лапидарном суворовском духе. Провинившихся подчиненных он разделывал в этих приказах со свойственным ему хлестким и грубым сарказмом, которого офицеры боялись больше всяких дисциплинарных наказаний. Поэтому в ротах шла, вот уже две недели, поспешная, лихорадочная работа, и воскресный день с одинаковым нетерпением ожидался как усталыми офицерами, так и задерганными, ошалевшими солдатами.

Но для Ромашова благодаря аресту пропала вся прелесть этого сладкого отдыха. Встал он очень рано и, как ни старался, не мог потом заснуть. Он вяло одевался, с отвращением пил чай и даже раз за что-то грубо прикрикнул на Гайнана, который, как и всегда, был весел, подвижен и неуклюж, как молодой щенок.

В серой расстегнутой тужурке кружился Ромашов по своей крошечной комнате, задевая ногами за ножки кровати, а локтями за шаткую пыльную этажерку. В первый раз за полтора года — и то благодаря несчастному и случайному обстоятельству — он остался наедине сам с собою. Прежде этому мешала служба, дежурства, вечера в собрании, карточная игра, ухаживание за Петерсон, вечера у Николаевых. Иногда, если и случался свободный, ничем не заполненный час, то Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно боясь самого себя, торопливо бежал в клуб, или к знакомым, или просто на улицу, до встречи с кем-нибудь из холостых товарищей, что всегда кончалось выпивкой. Теперь же он с тоской думал, что впереди — целый день одиночества, и в голову ему лезли все такие странные, неудобные и ненужные мысли.

В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще не выставленную раму до Ромашова доносились дрожащие, точно рождающиеся один из другого звуки благовеста, по-весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном начинался сад, где во множестве росли черешни, все белые от цветов, круглые и кудрявые, точно стадо белоснежных овец, точно толпа девочек в белых платьях. Между ними там и сям возвышались стройные, прямые тополи с ветками, молитвенно устремленными вверх, в небо, и широко раскидывали свои мощные купообразные вершины старые каштаны; деревья были еще пусты и чернели голыми сучьями, но уже начинали, едва заметно для глаза, желтеть первой, пушистой, радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное. Деревья тихо вздрагивали и медленно качались. Чувствовалось, что между ними бродит ласковый прохладный ветерок и заигрывает, и шалит, и, наклоняя цветы книзу, целует их.

Из окна направо была видна через ворота часть грязной, черной улицы, с чьим-то забором по ту сторону. Вдоль этого забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно проходили люди. «У них целый день еще впереди, — думал Ромашов, завистливо следя за ними глазами, — оттого они не торопятся. Целый свободный день!»

И ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось сейчас же одеться и уйти из комнаты. Его потянуло не в собрание, как всегда, а просто на улицу, на воздух. Он как будто не знал раньше цены свободе и теперь сам удивлялся тому, как много счастья может заключаться в простой возможности идти, куда хочешь, повернуть в любой переулок, выйти на площадь, зайти в церковь и делать это не боясь, не думая о последствиях. Эта возможность вдруг представилась ему каким-то огромным праздником души.

И вместе с тем вспомнилось ему, как в раннем детстве, еще до корпуса, мать наказывала его тем, что привязывала его тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И маленький Ромашов сидел покорно целыми часами. В другое время он ни на секунду не задумался бы над тем, чтобы убежать из дому на весь день, хотя бы для этого пришлось спускаться по водосточному желобу из окна второго этажа. Он часто, ускользнув таким образом, увязывался на другой конец Москвы за военной музыкой или за похоронами, он отважно воровал у матери сахар, варенье и папиросы для старших товарищей, но нитка! — нитка оказывала на него странное, гипнотизирующее действие. Он даже боялся натягивать ее немного посильнее, чтобы она как-нибудь не лопнула. Здесь был не страх наказания, и, конечно, не добросовестность и не раскаяние, а именно гипноз, нечто вроде суеверного страха перед могущественными и непостижимыми действиями взрослых, нечто вроде почтительного ужаса дикаря перед магическим кругом шамана.

«И вот я теперь сижу, как школьник, как мальчик, привязанный за ногу, — думал Ромашов, слоняясь по комнате. — Дверь открыта, мне хочется идти, куда хочу, делать, что хочу, говорить, смеяться, — а я сижу на нитке. Это *я* сижу. Я. Ведь это — Я! Но ведь это только он решил, что я должен сидеть. Я не давал своего согласия».

— Я! — Ромашов остановился среди комнаты и с расставленными врозь ногами, опустив голову вниз, крепко задумался. — Я! Я! Я! — вдруг воскликнул он громко, с удивлением, точно в первый раз поняв это короткое слово. — Кто же это стоит здесь и смотрит вниз, на черную щель в полу? Это.

— Я. О, как странно!.. Я-а, — протянул он медленно, вникая всем сознанием в этот звук.

Он рассеянно и неловко улыбнулся, но тотчас же нахмурился и побледнел от напряжения мысли. Подобное с ним случалось нередко за последние пять-шесть лет, как оно бывает почти со всеми молодыми людьми в период созревания души. Простая истина, поговорка, общеизвестное изречение, смысл которого он давно уже механически знал, вдруг благодаря какому-то внезапному внутреннему освещению приобретали глубокое философское значение, и тогда ему казалось, что он впервые их слышит, почти сам открыл их. Он даже помнил, как *это* было с ним в первый раз. В корпусе, на уроке закона божия, священник толковал притчу о работниках, переносивших камни. Один носил сначала мелкие, а потом приступил к тяжелым и последних камней уже не мог дотащить; другой же поступил наоборот и кончил свою работу благополучно. Для Ромашова вдруг сразу отверзлась целая бездна практической мудрости, скрытой в этой бесхитростной притче, которую он знал и понимал с тех пор, как выучился читать. То же самое случилось вскоре с знакомой поговоркой «Семь раз отмерь — один раз отрежь». В один какой-то счастливый, проникновенный миг он понял в ней все: благоразумие, дальновидность, осторожную бережливость, расчет. Огромный житейский опыт уложился в этих пяти-шести словах. Так и теперь его вдруг ошеломило и потрясло неожиданное яркое сознание своей индивидуальности…

«Я — это внутри, — думал Ромашов, — а все остальное — это постороннее, это — не Я. Вот эта комната, улица, деревья, небо, полковой командир, поручик Андрусевич, служба, знамя, солдаты — все это не Я. Нет, нет, это не Я. Вот мои руки и ноги, — Ромашов с удивлением посмотрел на свои руки, поднеся их близко к лицу и точно впервые разглядывая их, — нет, это все — не Я. А вот я ущипну себя за руку… да, вот так… это Я. Я вижу руку, подымаю ее кверху — это Я. То, что я теперь думаю, это тоже Я. И если я захочу пойти, это Я. И вот я остановился — это Я.

О, как это странно, как просто и как изумительно. Может быть, у всех есть это Я? А может быть, не у всех? Может быть, ни у кого, кроме меня? А что — если есть? Вот — стоят передо мной сто солдат, я кричу им: „Глаза направо!“ — и сто человек, из которых у каждого есть свое Я и которые во мне видят что-то чужое, постороннее, не Я, — они все сразу поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг от друга, они — масса. А для полковника Шульговича, может быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны также сливаются в одно лицо, и мы ему также чужие, и он не отличает нас друг от друга?»

Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Переминаясь с ноги на ногу и вздергивая плечами, точно приплясывая, он крикнул:

— Ваша благородия. Буфенчик больше на даваит папиросов. Говорит, поручик Скрябин не велел тебе в долг давать.

— Ах, черт! — вырвалось у Ромашова. — Ну, иди, иди себе… Как же я буду без папирос?.. Ну, все равно, можешь идти, Гайнан.

«О чем я сейчас думал? — спросил самого себя Ромашов, оставшись один. Он утерял нить мыслей и, по непривычке думать последовательно, не мог сразу найти ее. — О чем я сейчас думал? О чем-то важном и нужном… Постой: надо вернуться назад… Сижу под арестом… по улице ходят люди… в детстве мама привязывала… *Меня* привязывала… Да, да… У солдата тоже — Я… Полковник Шульгович… Вспомнил… Ну, теперь дальше, дальше…

Я сижу в комнате. Не заперт. Хочу и не смею выйти из нее. Отчего не смею? Сделал ли я какое-нибудь преступление? Воровство? Убийство? Нет; говоря с другим, посторонним мне человеком, я не держал ног вместе и что-то сказал. Может быть, я был должен держать ноги вместе? Почему? Неужели это — важно? Неужели это — главное в жизни? Вот пройдет еще двадцать — тридцать лет — одна секунда в том времени, которое было до меня и будет после меня. Одна секунда! Мое Я погаснет, точно лампа, у которой прикрутили фитиль. Но лампу зажгут снова, и снова, и снова, а Меня уже не будет. И не будет ни этой комнаты, ни неба, ни полка, ни всего войска, ни звезд, ни земного шара, ни моих рук и ног… Потому что не будет Меня…

Да, да… это так… Ну, хорошо… подожди… надо постепенно… ну, дальше… Меня не будет. Было темно, кто-то зажег мою жизнь и сейчас же потушил ее, и опять стало темно навсегда, на веки веков… Что же я делал в этот коротенький миг? Я держал руки по швам и каблуки вместе, тянул носок вниз при маршировке, кричал во все горло: „На плечо!“, — ругался и злился из-за приклада, „недовернутого на себя“, трепетал перед сотнями людей… Зачем? Эти призраки, которые умрут с моим Я, заставляли меня делать сотни ненужных мне и неприятных вещей и за это оскорбляли и унижали *Меня* . Меня!!! Почему же мое Я подчинялось призракам?»

Ромашов сел к столу, облокотился на него и сжал голову руками. Он с трудом удерживал эти необычные для него, разбегающиеся мысли.

«Гм… а ты позабыл? Отечество? Колыбель? Прах отцов? Алтари?.. А воинская честь и дисциплина? Кто будет защищать твою родину, если в нее вторгнутся иноземные враги?.. Да, но я умру, и не будет больше ни родины, ни врагов, ни чести. Они живут, пока живет мое сознание. Но исчезни родина, и честь, и мундир, и все великие слова, — мое Я останется неприкосновенным. Стало быть, все-таки мое Я важнее всех этих понятий о долге, о чести, о любви? Вот я служу… А вдруг мое Я скажет: не хочу! Нет — не мое Я, а больше… весь миллион Я, составляющих армию, нет — еще больше — все Я, населяющие земной шар, вдруг скажут: „Не хочу!“ И сейчас же война станет немыслимой, и уж никогда, никогда не будет этих „ряды вздвой!“ и „полуоборот направо!“ — потому что в них не будет надобности. Да, да, да! Это верно, это верно! — закричал внутри Ромашова какой-то торжествующий голос. — Вся эта военная доблесть, и дисциплина, и чинопочитание, и честь мундира, и вся военная наука, — все зиждется только на том, что человечество не хочет, или не умеет, или не смеет сказать „не хочу!“.

Что же такое все это хитро сложенное здание военного ремесла? Ничто. Пуф, здание, висящее на воздухе, основанное даже не на двух коротких словах „не хочу“, а только на том, что эти слова почему-то до сих пор не произнесены людьми. Мое Я никогда ведь не скажет „не хочу есть, не хочу дышать, не хочу видеть“. Но если ему предложат умереть, оно непременно, непременно скажет — „не хочу“. Что же такое тогда война с ее неизбежными смертями и все военное искусство, изучающее лучшие способы убивать? Мировая ошибка? Ослепление?

Нет, ты постой, подожди… Должно быть, я сам ошибаюсь. Не может быть, чтобы я не ошибался, потому что это „не хочу“ — так просто, так естественно, что должно было бы прийти в голову каждому. Ну, хорошо; ну, разберемся. Положим, завтра, положим, сию секунду эта мысль пришла в голову всем: русским, немцам, англичанам, японцам… И вот уже нет больше войны, нет офицеров и солдат, все разошлись по домам. Что же будет? Да, что будет тогда? Я знаю, Шульгович мне на это ответит: „Тогда придут к нам нежданно и отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни, уведут наших жен и сестер“. А бунтовщики? Социалисты? Революционеры?.. Да нет же, это неправда. Ведь все, все человечество сказало: не хочу кровопролития. Кто же тогда пойдет с оружием и с насилием? Никто. Что же случится? Или, может быть, тогда „все помирятся? Уступят друг другу? Поделятся? Простят? Господи, господи, что же будет?“»

Ромашов не заметил, занятый своими мыслями, как Гайнан тихо подошел к нему сзади и вдруг протянул через его плечо руку. Он вздрогнул и слегка вскрикнул от испуга:

— Что тебе надо, черт!..

Гайнан положил на стол коричневую бумажную пачку.

— Тебе! — сказал он фамильярно и ласково, и Ромашов почувствовал, что он дружески улыбается за его спиной. — Тебе папиросы. Куры!

Ромашов посмотрел на пачку. На ней было напечатано: папиросы «Трубач», цена 3 коп. 20 шт.

— Что это такое? Зачем? — спросил он с удивлением. — Откуда ты взял?

— Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свой деньга. Куры, пожалюста, куры. Ничего. Дару тебе.

Гайнан сконфузился и стремглав выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу. В комнате запахло сургучом и жжеными перьями.

«О, милый! — подумал растроганный Ромашов. — Я на него сержусь, кричу, заставляю его по вечерам снимать с меня не только сапоги, но носки и брюки. А он вот купил мне папирос за свои жалкие, последние солдатские копейки. „Куры, пожалюста!“ За что же это?..»

Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате.

«Вот их сто человек в нашей роте. И каждый из них — человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет — ничего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга: Солтыс, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Яшишин… Серые, однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим Я к ихнему Я? — Ничего».

Ромашову вдруг вспомнился один ненастный вечер поздней осени. Несколько офицеров, и вместе с ними Ромашов, сидели в собрании и пили водку, когда вбежал фельдфебель девятой роты Гуменюк и, запыхавшись, крикнул своему ротному командиру:

— Ваше высокоблагородие, молодых пригнали!..

Да, именно пригнали. Они стояли на полковом дворе, сбившись в кучу, под дождем, точно стадо испуганных и покорных животных, глядели недоверчиво, исподлобья. Но у всех у них были особые липа. Может быть, это так казалось от разнообразия одежд? «Этот вот, наверно, был слесарем, — думал тогда Ромашов, проходя мимо и вглядываясь в лица, — а этот, должно быть, весельчак и мастер играть на гармонии. Этот — грамотный, расторопный и жуликоватый, с быстрым складным говорком — не был ли он раньше в половых?» И видно было также, что их действительно пригнали, что еще несколько дней тому назад их с воем и причитаниями провожали бабы и дети и что они сами молодечествовали и крепились, чтобы не заплакать сквозь пьяный рекрутский угар… Но прошел год, и вот они стоят длинной, мертвой шеренгой — серые, обезличенные, деревянные — *солдаты* ! Они не хотели идти. *Их Я не хотело* . Господи, где же причины этого страшного недоразумения? Где начало этого узла? Или все это — то же самое, что известный опыт с петухом? Наклонят петуху голову к столу — он бьется. Но проведут ему мелом черту по носу и потом дальше по столу, и он уже думает, что его привязали, и сидит, не шелохнувшись, выпучив глаза, в каком-то сверхъестественном ужасе.

Ромашов дошел до кровати и повалился на нее.

«Что же мне остается делать в таком случае? — сурово, почти злобно спросил он самого себя. — Да, что мне делать? Уйти со службы? Но что ты знаешь? Что умеешь делать? Сначала пансион, потом кадетский корпус, военное училище, замкнутая офицерская жизнь… Знал ли ты борьбу? Нужду? Нет, ты жил на всем готовом, думая, как институтка, что французские булки растут на деревьях. Попробуй-ка, уйди. Тебя заклюют, ты сопьешься, ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни. Постой. Кто из офицеров, о которых ты знаешь, ушел добровольно со службы? Да никто. Все они цепляются за свое офицерство, потому что ведь они больше никуда не годятся, ничего не знают. А если и уйдут, то ходят потом в засаленной фуражке с околышком: „Эйе ла бонте… благородный русский офицер… компрене ву…“ Ах, что же мне делать! Что же мне делать!..»

— Арестантик, арестантик! — зазвенел под окном ясный женский голос.

Ромашов вскочил с кровати и подбежал к окну. На дворе стояла Шурочка. Она, закрывая глаза с боков ладонями от света, близко прильнула смеющимся, свежим лицом к стеклу и говорила нараспев:

— Пода-айте бе-едному заключенненькому…

Ромашов взялся было за скобку, но вспомнил, что окно еще не выставлено. Тогда, охваченный внезапным порывом веселой решимости, он изо всех сил дернул к себе раму. Она подалась и с треском распахнулась, осыпав голову Ромашова кусками известки и сухой замазки. Прохладный воздух, наполненный нежным, тонким и радостным благоуханием белых цветов, потоком ворвался в комнату.

«Вот так! Вот так надо искать выхода!» — закричал в душе Ромашова смеющийся, ликующий голос.

— Ромочка! Сумасшедший! Что вы делаете?

Он взял ее протянутую через окно маленькую руку, крепко облитую коричневой перчаткой, и смело поцеловал ее сначала сверху, а потом снизу, в сгибе, в кругленькую дырочку над пуговицами. Он никогда не делал этого раньше, но она бессознательно, точно подчиняясь той волне восторженной отваги, которая так внезапно взмыла в нем, не противилась его поцелуям и только глядела на него со смущенным удивлением и улыбаясь.

— Александра Петровна! Как мне благодарить вас? Милая!

— Ромочка, да что это с вами? Чему вы обрадовались? — сказала она, смеясь, но все еще пристально и с любопытством вглядываясь в Ромашова. — У вас глаза блестят. Постойте, я вам калачик принесла, как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки, сладкие… Степан, да несите же корзинку.

Он смотрел на нее сияющими, влюбленными глазами, не выпуская ее руки из своей, — она опять не сопротивлялась этому, — и говорил поспешно:

— Ах, если бы вы знали, о чем я думал нынче все утро… Если бы вы только знали! Но это потом…

— Да, потом… Вот идет мой супруг и повелитель… Пустите руку. Какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич. Даже похорошели.

К окну подошел Николаев. Он хмурился и не совсем любезно поздоровался с Ромашовым.

— Иди, Шурочка, иди, — торопил он жену. — Это же бог знает что такое. Вы, право, оба сумасшедшие. Дойдет до командира — что хорошего! Ведь он под арестом. Прощайте, Ромашов. Заходите.

— Заходите, Юрий Алексеевич, — повторила и Шурочка.

Она отошла от окна, но тотчас же вернулась и сказала быстрым шепотом:

— Слушайте, Ромочка: нет, правда, не забывайте нас. У меня единственный человек, с кем я, как с другом, — это вы. Слышите? Только не смейте делать на меня таких бараньих глаз. А то видеть вас не хочу. Пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы и не мужчина вовсе.

## VIII

Казармы для помещения полка только что начали строить на окраине местечка, за железной дорогой, на так называемом выгоне, а до их окончания полк со всеми своими учреждениями был расквартирован по частным квартирам. Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем: в длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальная зала и гостиная, а короткую, простиравшуюся в глубь грязного двора, занимали — столовая, кухня и «номера» для приезжих офицеров. Эти две половины были связаны между собою чем-то вроде запутанного, узкого, коленчатого коридора; каждое колено соединялось с другими дверями, и таким образом получился ряд крошечных комнатушек, которые служили — буфетом, бильярдной, карточной, передней и дамской уборной. Так как все эти помещения, кроме столовой, были обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель.

Ромашов пришел в собрание в девять часов. Пять-шесть холостых офицеров уже сошлись на вечер, но дамы еще не съезжались. Между ними издавна существовало странное соревнование в знании хорошего тона, а этот тон считал позорным для дамы являться одной из первых на бал. Музыканты уже сидели на своих местах в стеклянной галерее, соединявшейся одним большим многостекольным окном с залой. В зале по стенам горели в простенках между окнами трехлапые бра, а с потолка спускалась люстра с хрустальными дрожащими подвесками. Благодаря яркому освещению эта большая комната с голыми стенами, оклеенными белыми обоями, с венскими стульями по бокам, с тюлевыми занавесками на окнах, казалась особенно пустой.

В бильярдной два батальонных адъютанта, поручики Бек-Агамалов и Олизар, которого все в полку называли графом Олизаром, играли в пять шаров на пиво. Олизар — длинный, тонкий, прилизанный, напомаженный — молодой старик, с голым, но морщинистым, хлыщеватым лицом, все время сыпал бильярдными прибаутками. Бек-Агамалов проигрывал и сердился. На их игру глядел, сидя на подоконнике, штабс-капитан Лещенко, унылый человек сорока пяти лет, способный одним своим видом навести тоску; все у него в лице и фигуре висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии: висел вниз, точно стручок перца, длинный, мясистый, красный и дряблый нос; свисали до подбородка двумя тонкими бурыми нитками усы; брови спускались от переносья вниз к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение; даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и впалой груди, как на вешалке. Лещенко ничего не пил, не играл в карты и даже не курил. Но ему доставляло странное, непонятное другим удовольствие торчать в карточной, или в бильярдной комнате за спинами игроков, или в столовой, когда там особенно кутили. По целым часам он просиживал там, молчаливый и унылый, не произнося ни слова. В полку к этому все привыкли, и даже игра и попойка как-то не вязались, если в собрании не было безмолвного Лещенки.

Поздоровавшись с тремя офицерами, Ромашов сел рядом с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сторону, вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными и преданными собачьими глазами.

— Как здоровье Марьи Викторовны? — спросил Ромашов тем развязным и умышленно громким голосом, каким говорят с глухими и туго понимающими людьми и каким с Лещенкой в полку говорили все, даже прапорщики.

— Спасибо, голубчик, — с тяжелым вздохом ответил Лещенко. — Конечно, нервы у нее… Такое время теперь.

— А отчего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Марья Викторовна не собирается сегодня?

— Нет. Как же. Будет. Она будет, голубчик. Только, видите ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной пополам взяли экипаж, ну и, понимаете, голубчик, говорят мне: «У тебя, говорят, сапожища грязные, ты нам платья испортишь».

— Круазе в середину! Тонкая резь. Вынимай шара из лузы, Бек! — крикнул Олизар.

— Ты сначала делай шара, а потом я выну, — сердито отозвался Бек-Агамалов.

Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их.

— У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеич, — сказал он просительно и запинаясь, — сегодня ведь вы распорядитель танцев?

— Да. Черт бы их побрал. Назначили. Я крутился-крутился перед полковым адъютантом, хотел даже написать рапорт о болезни. Но разве с ним сговоришь? «Подайте, говорит, свидетельство врача».

— Вот я вас и хочу попросить, голубчик, — продолжал Лещенко умильным тоном. — Бог уж с ней, устройте, чтобы она не очень сидела. Знаете, прошу вас по-товарищески.

— Марья Викторовна?

— Ну да. Пожалуйста уж.

— Желтый дуплет в угол, — заказал Бек-Агамалов. — Как в аптеке будет.

Ему было неудобно играть вследствие его небольшого роста, и он должен был тянуться на животе через бильярд. От напряжения его лицо покраснело, и на лбу вздулись, точно ижица, две сходящиеся к переносью жилы.

— Жамаис! — уверенно дразнил его Олизар. — Этого даже я не сделаю.

Кий Агамалова с сухим треском скользнул по шару, но шар не сдвинулся с места.

— Кикс! — радостно закричал Олизар и затанцевал канкан вокруг бильярда.

— Когда ты спышь — храпышь, дюша мой?

Агамалов стукнул толстым концом кия о пол.

— А ты не смей под руку говорить! — крикнул он, сверкая черными глазами. — Я игру брошу.

— Нэ кирпичись, дюша мой, кровь испортышь. Модистку в угол!..

К Ромашову подскочил один из вестовых, наряженных на дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам.

— Ваше благородие, вас барыня просят в залу.

Там уже прохаживались медленно взад и вперед три дамы, только что приехавшие, все три — пожилые. Самая старшая из них, жена заведующего хозяйством, Анна Ивановна Мигунова, обратилась к Ромашову строгим и жеманным тоном, капризно растягивая концы слов и со светской важностью кивая головой:

— Подпоручик Ромашо-ов, прикажите сыграть что-нибудь для слу-уха. Пожа-алуйста…

— Слушаю-с. — Ромашов поклонился и подошел к музыкантскому окну. — Зиссерман, — крикнул он старосте оркестра, — валяй для слуха!

Сквозь раскрытое окно галереи грянули первые раскаты увертюры из «Жизни за царя», и в такт им заколебались вверх и вниз языки свечей.

Дамы понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти минуты перед балом, когда, по своим дирижерским обязанностям, он встречал в передней входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капоров, боа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесная передняя вдруг наполнялась запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток, — неуловимым, глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли свои прически! Какой музыкой звучал шелест и шорох их юбок! Какая ласка чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров!..

Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было почерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые дамы по годам носят одно и то же «шикарное» платье, делая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претенциозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент: в этом сказывалась какая-то тряпичная, безвкусная, домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белила и румяна, во неумело и грубо до наивности: у иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы; он знал, как за ними скрывались: жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и, наконец, скучные, пошлые связи…

Приехал капитан Тальман с женой: оба очень высокие, плотные; она — нежная, толстая, рассыпчатая блондинка, он — со смуглым, разбойничьим лицом, с беспрестанным кашлем и хриплым голосом. Ромашов уже заранее знал, что сейчас Тальман скажет свою обычную фразу, и он, действительно, бегая цыганскими глазами, просипел:

— А что, подпоручик, в карточной уже винтят?

— Нет еще. Все в столовой.

— Нет еще? Знаешь, Сонечка, я того… пойду в столовую — «Инвалид» пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее… ну, там какую-нибудь кадриленцию.

Потом в переднюю впорхнуло семейство Лыкачевых — целый выводок хорошеньких, смешливых и картавых барышень во главе с матерью — маленькой, живой женщиной, которая в сорок лет танцевала без устали и постоянно рожала детей — «между второй и третьей кадрилью», как говорил про нее полковой остряк Арчаковский.

Барышни, разнообразно картавя, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на Ромашова:

— Отчего вы к нам не пьиходили?

— Звой, звой, звой!

— Нехолосый, нехолосый, нехолосый!

— Звой, звой!

— Пьиглашаю вас на пейвую кадъиль.

— Mesdames!.. Mesdames! — говорил Ромашов, изображая собою против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны.

В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидал за ее стеклом худое и губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под белым платком, коробкой надетым поверх шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, — все-таки он чувствовал тревогу; в выражении маленьких глаз его любовницы почудилось ему что-то новое и беспокойное, какая-то жестокая, злобная и уверенная угроза.

Он прошел в столовую. Там уже набралось много народа; почти все места за длинным, покрытым клеенкой столом были заняты. Синий табачный дым колыхался в воздухе. Пахло горелым маслом из кухни. Две или три группы офицеров уже начинали выпивать и закусывать. Кое-кто читал газеты. Густой и пестрый шум голосов сливался со стуком ножей, щелканьем бильярдных шаров и хлопаньем кухонной двери. По ногам тянуло холодом из сеней.

Ромашов отыскал поручика Бобетинского и подошел к нему. Бобетинский стоял около стола, засунув руки в карманы брюк, раскачиваясь на носках и на каблуках и щуря глаза от дыма папироски. Ромашов тронул его за рукав.

— Что? — обернулся он и, вынув одну руку из кармана, не переставая щуриться, с изысканным видом покрутил длинный рыжий ус, скосив на него глаза и отставив локоть вверх. — А-а! Это вы? Эчень приэтно…

Он всегда говорил таким ломаным, вычурным тоном, подражая, как он сам думал, гвардейской золотой молодежи. Он был о себе высокого мнения, считая себя знатоком лошадей и женщин, прекрасным танцором и притом изящным, великосветским, но, несмотря на свои двадцать четыре года, уже пожившим и разочарованным человеком. Поэтому он всегда держал плечи картинно поднятыми кверху, скверно французил, ходил расслабленной походкой и, когда говорил, делал усталые, небрежные жесты.

— Петр Фаддеевич, милый, пожалуйста, подирижируйте нынче за меня, — попросил Ромашов.

— Ме, мон ами! — Бобетинский поднял кверху плечи и брови и сделал глупые глаза. — Но… мой дрюг, — перевел он по-русски. — С какой стати? Пуркуа? Право, вы меня… как это говорится?.. Вы меня эдивляете!..

— Дорогой мой, пожалуйста…

— Постойте… Во-первых, без фэ-миль-ярностей. Чтэ это тэкое — дорогой, тэкой-сякой е цетера?

— Ну, умоляю вас, Петр Фаддеич… Голова болит… и горло… положительно не могу.

Ромашов долго и убедительно упрашивал товарища. Наконец он даже решил пустить в дело лесть.

Ведь никто же в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как Петр Фаддеевич. И кроме того, об этом также просила одна дама…

— Дама?.. — Бобетинский сделал рассеянное и меланхолическое лицо. — Дама? Дрюг мой, в мои годы… — Он рассмеялся с деланной горечью и разочарованием. — Что такое женщина? Ха-ха-ха… Юн енигм! Ну, хорошо, я, так и быть, согласен… Я согласен.

И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил:

— Мон шер ами, а нет ли у вас… как это называется… трех рюблей?

— К сожалению!.. — вздохнул Ромашов.

— А рубля?

— Мм!..

— Дезагреабль-с… Ничего не поделаешь. Ну, пойдемте в таком случае выпьем водки.

— Увы! И кредита нет, Петр Фаддеевич.

— Да-а? О, повр анфан!.. Все равно, пойдем. — Бобетинский сделал широкий и небрежный жест великодушия. — Я вас приветствую.

В столовой между тем разговор становился более громким и в то же время более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились.

Больше всех овладел беседой поручик Арчаковский — личность довольно темная, едва ли не шулер. Про него втихомолку рассказывали, что еще до поступления в полк, во время пребывания в запасе, он служил смотрителем на почтовой станции и был предан суду за то, что ударом кулака убил какого-то ямщика.

— Это хорошо дуэль в гвардии — для разных там лоботрясов и фигель-миглей, — говорил грубо Арчаковский, — а у нас… Ну, хорошо, я холостой… положим, я с Василь Василичем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мной не захочет стреляться — вон из полка; спрашивается, что его дети будут жрать? А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот, и опять детям кусать нечего… Чепуха все.

— Гето… ты подожди… ты повремени, — перебил его старый и пьяный подполковник Лех, держа в одной руке рюмку, а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе, — ты понимаешь, что такое честь мундира?.. Гето, братец ты мой, та-акая штука… Честь, она… Вот, я помню, случай у нас был в Темрюкском полку в тысячу восемьсот шестьдесят втором году.

— Ну, знаете, ваших случаев не переслушаешь, — развязно перебил его Арчаковский, — расскажете еще что-нибудь, что было за царя Гороха.

— Гето, братец… ах, какой ты дерзкий… Ты еще мальчишка, а я, гето… Был, я говорю, такой случай…

— Только кровь может смыть пятно обиды, — вмешался напыщенным тоном поручик Бобетинский и по-петушиному поднял кверху плечи.

— Гето, был у нас прапорщик Солуха, — силился продолжать Лех.

К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой роты, капитан Осадчий.

— Я слышу, что у вас разговор о поединках. Интересно послушать, — сказал он густым, рыкающим басом, сразу покрывая все голоса. — Здравия желаю, господин подполковник. Здравствуйте, господа.

— А, колосс родосский, — ласково приветствовал его Лех. — Гето… садись ты около меня, памятник ты этакий… Водочки выпьешь со мною?

— И весьма, — низкой октавой ответил Осадчий.

Этот офицер всегда производил странное и раздражающее впечатление на Ромашова, возбуждая в нем чувство, похожее на страх и на любопытство. Осадчий славился, как и полковник Шульгович, не только в полку, но и во всей дивизии своим необыкновенным по размерам и красоте голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой. Был он известен также и своим замечательным знанием строевой службы. Его иногда, для пользы службы, переводили из одной роты в другую, и в течение полугода он умел делать из самых распущенных, захудалых команд нечто похожее по стройности и исполнительности на огромную машину, пропитанную нечеловеческим трепетом перед своим начальником. Его обаяние и власть были тем более непонятны для товарищей, что он не только никогда не дрался, но даже и бранился лишь в редких, исключительных случаях. Ромашову всегда чуялось в его прекрасном сумрачном лице, странная бледность которого еще сильнее оттенялась черными, почти синими волосами, что-то напряженное, сдержанное и жестокое, что-то присущее не человеку, а огромному, сильному зверю. Часто, незаметно наблюдая за ним откуда-нибудь издали, Ромашов воображал себе, каков должен быть этот человек в гневе, и, думая об этом, бледнел от ужаса и сжимал холодевшие пальцы. И теперь он не отрываясь глядел, как этот самоуверенный, сильный человек спокойно садился у стены на предупредительно подвинутый ему стул.

Осадчий выпил водки, разгрыз с хрустом редиску и спросил равнодушно:

— Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания?

— Гето, братец ты мой, я сейчас рассказываю… Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон Зоон, — его солдаты звали «Под-Звон», — так он тоже однажды в собрании…

Но его перебил Липский, сорокалетний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми комичного мальчугана.

— Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль — чепуха. «Треба, каже, як у нас у бурсе — дал раза по потылице и квит». Затем дебатировал поручик Бобетинский, требовавший крови. Потом господин подполковник тщетно тщились рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем, в самом начале рассказа, подпоручик Михин заявили под шумок о своем собственном мнении, но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственной им целомудренной стыдливости мнение это выслушано не было.

Подпоручик Михин, маленький, слабогрудый юноша, со смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко, почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг покраснел до слез.

— Я только, господа… Я, господа, может быть, ошибаюсь, — заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое лицо руками. — Но, по-моему, то есть я полагаю… нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно, и каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру. Безусловно. Но иногда, знаете, это… может быть, высшая честь заключается в том, чтобы… это… безусловно простить… Ну, я не знаю, какие еще могут быть случаи… вот…

— Эх вы, Декадент Иванович, — грубо махнул на него рукой Арчаковский, — тряпку вам сосать.

— Гето, да дайте же мне, братцы, высказаться!

Сразу покрывая все голоса могучим звуком своего голоса, заговорил Осадчий:

— Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом, иначе это абсурд! Иначе это будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия. Пятьдесят шагов дистанции и по одному выстрелу. Я вам говорю: из этого выйдет одна только пошлость, вот именно вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом в газетах сообщают протокол поединка: «Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком недавние враги обменялись дружеским рукопожатием». Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет, Ему сразу ответило несколько голосов. Лех, который в продолжение его речи не раз покушался докончить свой рассказ, опять было начал: «А вот, гето, я, братцы мои… да слушайте же, жеребцы вы». Но его не слушали, и он попеременно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелевшей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова. Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе и когда какой-то колючий стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться. Поэтому-то он и не уклонился от подполковника, и тот, обрадованный, потащил его за рукав к столу.

— Гето… хоть ты меня выслушай, прапор, — говорил Лех горестно, — садись, выпей-ка водочки… Они, братец мой, все — шалыганы. — Лех слабо махнул на спорящих офицеров кистью руки. — Гав, гав, гав, а опыта у них нет. Я хотел рассказать, какой у нас был случай…

Держа одной рукой рюмку, а свободной рукой размахивая так, как будто бы он управлял хором, и мотая опущенной головой, Лех начал рассказывать один из своих бесчисленных рассказов, которыми он был нафарширован, как колбаса ливером, и которых он никогда не мог довести до конца благодаря вечным отступлениям, вставкам, сравнениям и загадкам. Теперешний его анекдот заключался в том, что один офицер предложил другому — это, конечно, было в незапамятные времена — американскую дуэль, причем в виде жребия им служил чет или нечет на рублевой бумажке. И вот кто-то из них, — трудно было понять, кто именно, — Под-Звон или Солуха, прибегнул к мошенничеству: «Гето, братец ты мой, взял да и склеил две бумажки вместе, и вышло, что на одной стороне чет, а на другой нечет. Стали они, братец ты мой, тянуть… Этот и говорит тому…»

Но и на этот раз подполковник не успел, по обыкновению, докончить своего анекдота, потому что в буфет игриво скользнула Раиса Александровна Петерсон. Стоя в дверях столовой, но не входя в нее (что вообще было не принято), она крикнула веселым и капризным голоском, каким кричат балованные, но любимые всеми девочки:

— Господа, ну что-о же это такое! Дамы уж давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь! Мы хочем танцевать!

Два-три молодых офицера встали, чтобы идти в залу, другие продолжали сидеть и курить и разговаривать, не обращая на кокетливую даму никакого внимания; зато старый Лех косвенными мелкими шажками подошел к ней и, сложив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку, воскликнул с пьяным умилением:

— Божественная! И как это начальство позволяет шущештвовать такой красоте! Рру-учку!.. Лобзнуть!..

— Юрий Алексеевич, — продолжала щебетать Петерсон, — ведь вы, кажется, на сегодня назначены? Хорош, нечего сказать, дирижер!

— Миль пардон, мадам. Се ма фот!.. Это моя вина! — воскликнул Бобетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро шаркал ногами, приседал, балансировал туловищем и раскачивал опущенными руками с таким видом, как будто он выделывал подготовительные па какого-то веселого балетного танца. — Ваш-шу руку. Вотр мэн, мадам. Господа, в залу, в залу!

Он понесся под руку с Петерсон, гордо закинув кверху голову, и уже из другой комнаты доносился его голос — светского, как он воображал, дирижера:

— Месье, приглашайте дам на вальс! Музыканты, вальс!

— Простите, господин подполковник, мои обязанности призывают меня, — сказал Ромашов.

— Эх, братец ты мой, — с сокрушением поник головой Лех. — И ты такой же перец, как и они все… Гето… постой, постой, прапорщик… Ты слыхал про Мольтке? Про великого молчальника, фельдмаршала… гето… и стратега Мольтке?

— Господин подполковник, право же…

— А ты не егози… Сия притча краткая… Великий молчальник посещал офицерские собрания и, когда обедал, то… гето… клал перед собою на стол кошелек, набитый, братец ты мой, золотом. Решил он в уме отдать этот кошелек тому офицеру, от которого он хоть раз услышит в собрании дельное слово. Но так и умер старик, прожив на свете сто девяносто лет, а кошелек его так, братец ты мой, и остался целым. Что? Раскусил сей орех? Ну, теперь иди себе, братец. Иди, иди, воробышек… попрыгай…

## X0

Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро. Цвела черемуха.

Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было много унизительного для молодого офицера, а ротный командир, капитан Слива, умел делать их еще более острыми и обидными.

Этот человек представлял собою грубый и тяжелый осколок прежней, отошедшей в область предания, жестокой дисциплины, с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины, и о нем передавалось много курьезных, почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за пределы строя, устава и роты и что он презрительно называл чепухой и мандрагорией, безусловно для него не существовало. Влача во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве официальной части «Инвалида». Всякие развлечения, вроде танцев, любительских спектаклей и т. п., он презирал всей своей загрубелой душой, и не было таких грязных и скверных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего солдатского лексикона. Рассказывали про него, — и это могло быть правдой, — что в одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей. Слива послушал-послушал и вдруг крикнул денщику:

— З-захарчук! П-прогони эту п-тицу ка-камнем. М-мешает…

Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно суров с солдатами в не только позволял драться унтер-офицерам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости: денег, приходивших из деревни, не задерживал и каждый день следил лично за ротным котлом, хотя суммами от вольных работ распоряжался по своему усмотрению. Только в одной пятой роте люди выглядели сытнее и веселее, чем у него.

Но молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы, которым его врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Если, например, на ученье субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке:

— От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п-подпоручик идет в ногу.

Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он поспешно, но едко прибавлял:

— З-за исключением г-господ офицеров и подпрапорщика.

Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех случаях, когда младший офицер опаздывал в роту, и это чаще всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали заметив подпоручика, Слива командовал роте «смирно», точно устраивая опоздавшему иронически-почетную встречу, а сам неподвижно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места. Иногда же он с яростною вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты: «Я думаю, подпоручик, вы позволите продолжать?» В другой раз осведомлялся с предупредительной заботливостью, но умышленно громко, о том, как подпоручик спал и что видел во сне. И только проделав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал ему грубый выговор.

«Эх, все равно уж! — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте. — И здесь плохо, и там плохо, — одно к одному. Пропала моя жизнь!»

Ротный командир, поручик Веткин, Лбов и фельдфебель стояли посредине плаца и все вместе обернулись на подходившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему головы. В эту минуту Ромашов представил себе самого себя — сконфуженного, идущего неловкой походкой под устремленными на него глазами, и ему стало еще неприятнее.

«Но, может быть, это вовсе не так уж позорно? — пробовал он мысленно себя утешить, по привычке многих застенчивых людей. — Может быть, это только мне кажется таким острым, а другим, право, все равно. Ну, вот, я представляю себе, что опоздал не я, а Лбов, а я стою на месте и смотрю, как он подходит. Ну, и ничего особенного: Лбов — как Лбов… Все пустяки, — решил он наконец и сразу успокоился. — Положим, совестно… Но ведь не месяц же это будет длиться, и даже не неделю, не день. Да и вся жизнь так коротка, что все в ней забывается».

Против обыкновения, Слива почти не обратил на него внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только когда Ромашов остановился в шаге от него, с почтительно приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе ногами, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы, похожие на пять холодных сосисок:

— Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за пять минут до прихода старшего субалтерн-офицера и за десять до ротного командира.

— Виноват, господин капитан, — деревянным голосом ответил Ромашов.

— От, извольте, — виноват!.. Все спите. Во сне шубы не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам.

Вся рота была по частям разбросана по плацу. Делали повзводно утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренгами, на шаг расстояния друг от друга, с расстегнутыми, для облегчения движений, мундирами. Расторопный унтер-офицер Бобылев из полуроты Ромашова, почтительно косясь на подходящего офицера, командовал зычным голосом, вытягивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза:

— Подымание на носки и плавное приседание. Рук-и-и… на бедр!

И потом затянул, нараспев, низким голосом:

— Начина-а-ай!

— Ра-аз! — запели в унисон солдаты и медленно присели на корточки, а Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил шеренгу строгим молодцеватым взглядом.

А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сероштан выкрикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого петушка, голосом:

— Выпад с левой и правой ноги, с выбрасываньем соответствующей руки. — Товсь! Начинай. Ать-два, ать-два! — И десять молодых здоровых голосов кричали отрывисто и старательно: — Гау, гау, гау, гау!

— Стой! — выкрикнул пронзительно Сероштан. — Ла-апшин! Ты там что так семетрично дурака валяешь! Суешь кулаками, точно рязанская баба уфатом: хоу, хоу!.. Делай у меня движения чисто, матери твоей черт!

Потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к машинам, которые стояли в разных концах плаца. Подпрапорщик Лбов, сильный, ловкий мальчик и отличный гимнаст, быстро снял с себя шинель и мундир и, оставшись в одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к параллельным брусьям. Став руками на их концы, он в три приема раскачался, и вдруг, описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на полторы сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко, по-кошачьи, присел на землю.

— Подпрапорщик Лбов! Опять фокусничаете! — притворно-строго окрикнул его Слива. Старый «бурбон» в глубине души питал слабость к подпрапорщику, как к отличному фронтовику и тонкому знатоку устава. — Показывайте то, что требуется наставлением. Здесь вам не балаган на святой неделе.

— Слушаю, господин капитан! — весело гаркнул Лбов. — Слушаю, но не исполняю, — добавил он вполголоса, подмигнув Ромашову.

Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечания.

— Не болтай ногами. Носки уверх!

Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека, почти карлика, с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых, как будто раз навсегда с самого дня рождения, застыл тупой, покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести.

Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник.

— Подтягивайся, собачья морда, подтягивайся-а! — кричал унтер-офицер. — Ну, уверх!

Хлебников делал усилия подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос. И вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю.

— А-а! Не желаешь делать емнастические упражнения! — заорал унтер-офицер. — Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я т-тебе!

— Шаповаленко, не сметь драться! — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. — Не смей этого делать никогда! — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо.

Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка.

— Слушаю, ваше благородие. Только позвольте вам доложить: никакой с им возможности нет.

Хлебников стоял рядом, сгорбившись; он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу.

После гимнастики, когда людям дан был десятиминутный отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца, у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде.

— От, извольте угадать, где нарвешься! — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. — То есть, скажу я вам: именно, у каждого генерала своя фантазия. Помню я, был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса. Он из инженеров к нам попал. Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все побоку. С утра до вечера строили всякие ложементы, матери их бис! Летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир десятой роты, капитан Алейников, царство ему небесное, был представлен к Анне за то, что в два часа построил какой-то там люнет чи барбет.

— Ловко! — вставил Лбов.

— Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлыч, — стрельба при генерале Арагонском.

— А! Примостився стреляти? — засмеялся Веткин.

— Что это такое? — спросил Ромашов.

Слива презрительно махнул рукой.

— А это то, что тогда у нас только и было в уме что наставления для обучения стрельбе. Солдат один отвечал «Верую» на смотру, так он так и сказал, вместо «при Понтийстем Пилате» — «примостився стреляти». До того головы всем забили! Указательный палец звали не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза — был прицельный глаз.

— А помните, Афанасий Кириллыч, как теорию зубрили? — сказал Веткин. — Траектория, деривация… Ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату: вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь? «Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола». Но зато уж стреляли. Помните, Афанасий Кириллыч?

— Ну, как же. За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. Десять процентов свыше отличного — от, извольте. Однако и жулили мы, б-батюшки мои! Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на пять пуль больше, чем выпустили. Сто пять процентов попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать.

— А при Слесареве, помните шрейберовскую гимнастику?

— Еще бы не помнить! Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих, черт бы их драл! Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж, что называется — приидите, последнее целование. Прежде по крайности знали, что с тебя спросят, а теперь? Ах помилуйте, солдатик — ближний, нужна гуманность. Дррать его надо, расподлеца! Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение. Суворовцы! Не знаешь теперь, чему солдата и учить. От, извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку…

— Да, это не шоколад! — сочувственно кивнул головой Веткин.

— Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют. И насквозь! Ну-ка, попробуй — посторонись-ка. Сейчас приказ: «У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает».

— Лукавый старикашка, — сказал Веткин. — Он в К-ском полку какую штуку удрал. Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать: «Ложись!» Тот помялся, однако командует: «Ложись!» Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. А генерал при нижних чинах давай пушить командира: «Как ведете роту! Белоручки! Неженки! Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете, если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а бабы, и командир — баба! На абвахту!»

— А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина! А ударить его, каналью, не смей. Не-е-ет… Помилуйте — он личность, он человек! Нет-с, в прежнее время никаких личностев не было, и лупили их, скотов, как Сидоровых коз, а у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует!

— Бить солдата бесчестно, — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. — Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно!

Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпятив вперед нижнюю губу под короткими седеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова.

— Что т-тако-е? — протянул он тоном крайнего презрения.

Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось, точно во всем теле сразу.

— Я сказал, что это нехорошо… Да, и повторяю… вот что, — сказал он несвязно, но настойчиво.

— Скажит-те пож-жалуйста! — тонко пропел Слива. — Видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щелкать. В а-атличнейшем виде. Не хуже меня.

Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом:

— Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка.

— Что-с? — крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвался. — Однако довольно-с этой чепухи-с, — сказал он сухо. — Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью двадцать пять лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу, — закончил он сердито.

Он резко повернулся к офицерам спиной.

— Охота вам было ввязываться? — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым. — Сами видите, что эта слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите, — он вас под арест законопатит.

— Да послушайте, Павел Павлыч, это же ведь не служба, это — изуверство какое-то! — со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов. — Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами! Они нарочно стараются поддерживать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество.

— Ну да, это, конечно, так, — подтвердил равнодушно Веткин и зевнул.

А Ромашов продолжал с горячностью:

— Ну кому нужно, зачем это подтягивание, орание, грубые окрики? Ах, я совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только три дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь Арчаковский. Я в собрании в разговоре назвал его поручиком, потому что и он меня называет подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной и мы вместе пили пиво, закричал на меня: «Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик, а во-вторых… во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином!» И я встал и стоял перед ним как оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. Нет, нет, не говорите ничего, Павел Павлыч. Мне все это до такой степени надоело и опротивело!..

## XII

День 23 апреля был для Ромашова очень хлопотливым и очень странным днем. Часов в десять утра, когда подпоручик лежал еще в постели, пришел Степан, денщик Николаевых, с запиской от Александры Петровны.

«Милый Ромочка, — писала она, — я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. *Несмотря ни на что* , я все-таки хочу вас сегодня видеть! Только не приходите поздравлять днем, а прямо к пяти часам. Поедем пикником на Дубечную.

Ваша А.Н. »

Письмо дрожало в руках у Ромашова, когда он его читал. Уже целую неделю не видал он милого, то ласкового, то насмешливого, то дружески-внимательного лица Шурочки, не чувствовал на себе ее нежного и властного обаяния. «Сегодня!» — радостно сказал внутри его ликующий шепот.

— Сегодня! — громко крикнул Ромашов и босой соскочил с кровати на пол, — Гайнан, умываться!

Вошел Гайнан.

— Ваша благородия, там денщик стоит. Спрашивает: будешь писать ответ?

— Вот так так! — Ромашов вытаращил глаза и слегка присел. — Ссс… Надо бы ему на чай, а у меня ничего нет. — Он с недоумением посмотрел на денщика.

Гайнан широко и радостно улыбнулся.

— Мине тоже ничего нет!.. Тебе нет, мине нет. Э, чего там! Она и так пойдет.

Быстро промелькнула в памяти Ромашова черная весенняя ночь, грязь, мокрый, скользкий плетень, к которому он прижался, и равнодушный голос Степана из темноты: «Ходит, ходит каждый день…» Вспомнился ему и собственный нестерпимый стыд. О, каких будущих блаженств не отдал бы теперь подпоручик за двугривенный, за один двугривенный!

Ромашов судорожно и крепко потер руками лицо и даже крякнул от волнения.

— Гайнан, — сказал он шепотом, боязливо косясь на дверь. — Гайнан, ты поди скажи ему, что подпоручик вечером непременно дадут ему на чай. Слышишь: непременно.

Ромашов переживал теперь острую денежную нужду. Кредит был прекращен ему повсюду: в буфете, в офицерской экономической лавочке, в офицерском капитале… Можно было брать только обед и ужин в собрании, и то без водки и закуски. У него даже не было ни чаю, ни сахару. Оставалась только, по какой-то насмешливой игре случая, огромная жестянка кофе. Ромашов мужественно пил его по утрам без сахару, а вслед за ним, с такой же покорностью судьбе, допивал его Гайнан.

И теперь, с гримасами отвращения прихлебывая черную, крепкую, горькую бурду, подпоручик глубоко задумался над своим положением. «Гм… во-первых, как явиться без подарка? Конфеты или перчатки? Впрочем, неизвестно, какой номер она носит. Конфеты? Лучше бы всего духи: конфеты здесь отвратительные… Веер? Гм!.. Да, конечно, лучше духи. Она любит Эсс-буке. Потом расходы на пикнике: извозчик туда и обратно, скажем — пять, на чай Степану — ррубль! Да-с, господин подпоручик Ромашов, без десяти рублей вам не обойтись».

И он стал перебирать в уме все ресурсы. Жалованье? Но не далее как вчера он расписался на получательной ведомости: «Расчет верен. Подпоручик Ромашов». Все его жалованье было аккуратно разнесено по графам, в числе которых значилось и удержание по частным векселям; подпоручику не пришлось получить ни копейки. Может быть, попросить вперед? Это средство пробовалось им по крайней мере тридцать раз, но всегда без успеха. Казначеем был штабс-капитан Дорошенко — человек мрачный и суровый, особенно к «фендрикам». В турецкую войну он был ранен, но в самое неудобное и непочетное место — в пятку. Вечные подтрунивания и остроты над его раной (которую он, однако, получил не в бегстве, а в то время, когда, обернувшись к своему взводу, командовал наступление) сделали то, что, отправившись на войну жизнерадостным прапорщиком, он вернулся с нее желчным и раздражительным ипохондриком. Нет, Дорошенко не даст денег, а тем более подпоручику, который уже третий месяц пишет: «Расчет верен».

«Но не будем унывать! — говорил сам себе Ромашов. — Переберем в памяти всех офицеров. Начнем с ротных. По порядку. Первая рота — Осадчий».

Перед Ромашовым встало удивительное, красивое лицо Осадчего, с его тяжелым, звериным взглядом. «Нет — кто угодно, только не он. Только не он. Вторая рота — Тальман. Милый Тальман: он вечно и всюду хватает рубли, даже у подпрапорщиков. Хутынский?»

Ромашов задумался. Шальная, мальчишеская мысль мелькнула у него в голове: пойти и попросить взаймы у полкового командира. «Воображаю! Наверное, сначала оцепенеет от ужаса, потом задрожит от бешенства, а потом выпалит, как из мортиры: „Что-о? Ма-ал-чать! На четверо суток на гауптвахту!“»

Подпоручик расхохотался. Нет, все равно, что-нибудь да придумается! День, начавшийся так радостно, не может быть неудачным. Это неуловимо, это непостижимо, но оно всегда безошибочно чувствуется где-то в глубине, за сознанием.

«Капитан Дювернуа? Его солдаты смешно называют: Доверни-нога. А вот тоже, говорят, был какой-то генерал Будберг фон Шауфус, — так его солдаты окрестили: Будка за пехаузом. Нет, Дювернуа скуп и не любит меня — я это знаю…»

Так перебрал он всех ротных командиров от первой роты до шестнадцатой и даже до нестроевой, потом со вздохом перешел к младшим офицерам. Он еще не терял уверенности в успехе, но уже начинал смутно беспокоиться, как вдруг одно имя сверкнуло у него в голове: «Подполковник Рафальский!»

— Рафальский. А я-то ломал голову!.. Гайнан! Сюртук, перчатки, пальто — живо!

Подполковник Рафальский, командир четвертого батальона, был старый причудливый холостяк, которого в полку, шутя и, конечно, за глаза, звали полковником Бремом. Он ни у кого из товарищей не бывал, отделываясь только официальными визитами на пасху и на Новый год, а к службе относился так небрежно, что постоянно получал выговоры в приказах и жестокие разносы на ученьях. Все свое время, все заботы и всю неиспользованную способность сердца к любви и к привязанности он отдавал своим милым зверям — птицам, рыбам и четвероногим, которых у него был целый большой и оригинальный зверинец. Полковые дамы, в глубине души уязвленные его невниманием к ним, говорили, что они не понимают, как это можно бывать у Рафальского: «Ах, это такой ужас, эти звери! И притом, извините за выражение, — ззапах! фи!»

Все свои сбережения полковник Брем тратил на зверинец. Этот чудак ограничил свои потребности последней степенью необходимого: носил шинель и мундир бог знает какого срока, спал кое-как, ел из котла пятнадцатой роты, причем все-таки вносил в этот котел сумму для солдатского приварка более чем значительную. Но товарищам, особенно младшим офицерам, он, когда бывал при деньгах, редко отказывал в небольших одолжениях. Справедливость требует прибавить, что отдавать ему долги считалось как-то непринятым, даже смешным — на то он и слыл чудаком, полковником Бремом.

Беспутные прапорщики, вроде Лбова, идя к нему просить взаймы два целковых, так и говорили: «Иду смотреть зверинец». Это был подход к сердцу и к карману старого холостяка. «Иван Антоныч, нет ли новеньких зверьков? Покажите, пожалуйста. Так вы все это интересно рассказываете…»

Ромашов также нередко бывал у него, но пока без корыстных целей: он и в самом деле любил животных какой-то особенной, нежной и чувственной любовью. В Москве, будучи кадетом и потом юнкером, он гораздо охотнее ходил в цирк, чем в театр, а еще охотнее в зоологический сад и во все зверинцы. Мечтой его детства было иметь сенбернара; теперь же он мечтал тайно о должности батальонного адъютанта, чтобы приобрести лошадь. Но обеим мечтам не суждено было осуществиться: в детстве — из-за той бедности, в которой жила его семья, а адъютантом его вряд ли могли бы назначить, так как он не обладал «представительной фигурой».

Он вышел из дому. Теплый весенний воздух с нежной лаской гладил его щеки. Земля, недавно обсохшая после дождя, подавалась под ногами с приятной упругостью. Из-за заборов густо и низко свешивались на улицу белые шапки черемухи и лиловые — сирени. Что-то вдруг с необыкновенной силой расширилось в груди Ромашова, как будто бы он собирался лететь. Оглянувшись кругом и видя, что на улице никого нет, он вынул из кармана Шурочкино письмо, перечитал его и крепко прижался губами к ее подписи.

— Милое небо! Милые деревья! — прошептал он с влажными глазами.

Полковник Брем жил в глубине двора, обнесенного высокой зеленой решеткой. На калитке была краткая надпись: «Без звонка не входить. Собаки!!» Ромашов позвонил. Из калитки вышел вихрастый, ленивый, заспанный денщик.

— Полковник дома?

— Пожалуйте, ваше благородие.

— Да ты поди доложи сначала.

— Ничего, пожалуйте так. — Денщик сонно почесал ляжку. — Они этого не любят, чтобы, например, докладать.

Ромашов пошел вдоль кирпичатой дорожки к дому. Из-за угла выскочили два огромных молодых корноухих дога мышастого цвета. Один из них громко, но добродушно залаял. Ромашов пощелкал ему пальцами, и дог принялся оживленно метаться передними ногами то вправо, то влево и еще громче лаять. Товарищ же его шел по пятам за подпоручиком и, вытянув морду, с любопытством принюхивался к полам его шинели. В глубине двора, на зеленой молодой траве, стоял маленький ослик. Он мирно дремал под весенним солнцем, жмурясь и двигая ушами от удовольствия. Здесь же бродили куры и разноцветные петухи, утки и китайские гуси с наростами на носах; раздирательно кричали цесарки, а великолепный индюк, распустив хвост и чертя крыльями землю, надменно и сладострастно кружился вокруг тонкошеих индюшек. У корыта лежала боком на земле громадная розовая йоркширская свинья.

Полковник Брем, одетый в кожаную шведскую куртку, стоял у окна, спиною к двери, и не заметил, как вошел Ромашов. Он возился около стеклянного аквариума, запустив в него руку по локоть. Ромашов должен был два раза громко прокашляться, прежде чем Брем повернул свое худое, бородатое, длинное лицо в старинных черепаховых очках.

— А-а, подпоручик Ромашов! Милости просим, милости просим… — сказал Рафальский приветливо. — Простите, не подаю руки — мокрая. А я, видите ли, некоторым образом, новый сифон устанавливаю. Упростил прежний, и вышло чудесно. Хотите чаю?

— Покорно благодарю. Пил уж. Я, господин полковник, пришел…

— Вы слышали: носятся слухи, что полк переведут в другой город, — говорил Рафальский, точно продолжая только что прерванный разговор. — Вы понимаете, я, некоторым образом, просто в отчаянии. Вообразите себе, ну как я своих рыб буду перевозить? Половина ведь подохнет. А аквариум? Стекла — посмотрите вы сами — в полторы сажени длиной. Ах, батеньки! — вдруг перескочил он на другой предмет. — Какой аквариум я видел в Севастополе! Водоемы… некоторым образом… ей-богу, вот в эту комнату, каменные, с проточной морской водой. Электричество! Стоишь и смотришь сверху, как это рыбье живет. Белуги, акулы, скаты, морские петухи — ах, миленькие мои! Или, некоторым образом, морской кот: представьте себе этакий блин, аршина полтора в диаметре, и шевелит краями, понимаете, этак волнообразно, а сзади хвост, как стрела… Я часа два Стоял… Чему вы смеетесь?

— Простите… Я только что заметил, — у вас на плече сидит белая мышь…

— Ах ты, мошенница, куда забралась! — Рафальский повернул голову и издал губами звук вроде поцелуя, но необыкновенно тонкий, похожий на мышиный писк. Маленький белый красноглазый зверек спустился к нему до самого лица и, вздрагивая всем тельцем, стал суетливо тыкаться мордочкой в бороду и в рот человеку.

— Как они вас знают! — сказал Ромашов.

— Да… знают. — Рафальский вздохнул и покачал головой. — А вот то-то и беда, что мы их не знаем. Люди выдрессировали собаку, приспособили, некоторым образом, лошадь, приручили кошку, а что это за существа такие — этого мы даже знать не хотим. Иной ученый всю жизнь, некоторым образом, черт бы его побрал, посвятит на объяснение какого-то ерундовского допотопного слова, и уж такая ему за это честь, что заживо в святые превозносят. А тут… возьмите вы хоть тех же самых собак. Живут с нами бок о бок живые, мыслящие, разумные животные, и хоть бы один приват-доцент удостоил заняться их психологией!

— Может быть, есть какие-нибудь труды, но мы их не знаем? — робко предположил Ромашов.

— Труды? Гм… конечно, есть, и капитальнейшие. Вот, поглядите, даже у меня — целая библиотека. — Подполковник указал рукой на ряд шкафов вдоль стен. — Умно пишут и проникновенно. Знания огромнейшие! Какие приборы, какие остроумные способы… Но не то, вовсе не то, о чем я говорю! Никто из них, некоторым образом, не догадался задаться целью — ну хоть бы проследить внимательно один только день собаки или кошки. Ты вот поди-ка, понаблюдай-ка: как собака живет, что она думает, как хитрит, как страдает, как радуется. Послушайте: я видал, чего добиваются от животных клоуны. Поразительно!.. Вообразите себе гипноз, некоторым образом, настоящий, неподдельный гипноз! Что мне один клоун показывал в Киеве в гостинице — это удивительно, просто невероятно! Но ведь вы подумайте — клоун, клоун! А что, если бы этим занялся серьезный естествоиспытатель, вооруженный знанием, с их замечательным умением обставлять опыты, с их научными средствами. О, какие бы поразительные вещи мы услышали об умственных способностях собаки, о ее характере, о знании чисел, да мало ли о чем! Целый мир, огромный, интересный мир. Ну, вот, как хотите, а я убежден, например, что у собак есть свой язык, и, некоторым образом, весьма обширный язык.

— Так отчего же они этим до сих пор не занялись, Иван Антонович? — спросил Ромашов. — Это же так просто!

Рафальский язвительно засмеялся.

— Именно оттого, — хе-хе-хе, — что просто. Именно оттого. Веревка — вервие простое. Для него, во-первых, собака — что такое? Позвоночное, млекопитающее, хищное, из породы собаковых и так далее. Все это верно. Нет, но ты подойди к собаке, как к человеку, как к ребенку, как к мыслящему существу. Право, они со своей научной гордостью недалеки от мужика, полагающего, что у собаки, некоторым образом, вместо души пар.

Он замолчал и принялся, сердито сопя и кряхтя, возиться над гуттаперчевой трубкой, которую он прилаживал ко дну аквариума. Ромашов собрался с духом.

— Иван Антонович, у меня к вам большая, большая просьба…

— Денег?

— Право, совестно вас беспокоить. Да мне немного, рублей с десяток. Скоро отдать не обещаюсь, но…

Иван Антонович вынул руки из воды и стал вытирать их полотенцем.

— Десять могу. Больше не могу, а десять с превеликим удовольствием. Вам небось на глупости? Ну, ну, ну, я шучу. Пойдемте.

Он повел его за собою через всю квартиру, состоявшую из пяти-шести комнат. Не было в них ни мебели, ни занавесок. Воздух был пропитан острым запахом, свойственным жилью мелких хищников. Полы были загажены до того, что по ним скользили ноги.

Во всех углах были устроены норки и логовища в виде будочек, пустых пней, бочек без доньев. В двух комнатах стояли развесистые деревья — одно для птиц, другое для куниц и белок, с искусственными дуплами и гнездами. В том, как были приспособлены эти звериные жилища, чувствовалась заботливая обдуманность, любовь к животным и большая наблюдательность.

— Видите вы этого зверя? — Рафальский показал пальцем на маленькую конурку, окруженную частой загородкой из колючей проволоки. Из ее полукруглого отверстия, величиной с донце стакана, сверкали две черные яркие точечки. — Это самое хищное, самое, некоторым образом, свирепое животное во всем мире. Хорек. Нет, вы не думайте, перед ним все эти львы и пантеры — кроткие телята. Лев съел свой пуд мяса и отвалился, — смотри-т благодушно, как доедают шакалы. А этот миленький прохвост, если заберется в курятник, ни одной курицы не оставит — непременно у каждой перекусит вот тут, сзади, мозжечок. До тех пор не успокоится, подлец. И притом самый дикий, самый неприручимый из всех зверей. У, ты, злодей!

Он сунул руку за загородку. Из круглой дверки тотчас же высунулась маленькая разъяренная мордочка с разинутой пастью, в которой сверкали белые острые зубки. Хорек быстро то показывался, то прятался, сопровождая это звуками, похожими на сердитый кашель.

— Видите, каков? А ведь целый год его кормлю…

Подполковник, по-видимому, совсем забыл о просьбе Ромашова. Он водил его от норы к норе и показывал ему своих любимцев, говоря о них с таким увлечением и с такой нежностью, с таким знанием их обычаев и характеров, точно дело шло о его добрых, милых знакомых. В самом деле, для любителя, да еще живущего в захолустном городишке, у него была порядочная коллекция: белые мыши, кролики, морские свинки, ежи, сурки, несколько ядовитых змей в стеклянных ящиках, несколько сортов ящериц, две обезьяны-мартышки, черный австралийский заяц и редкий, прекрасный экземпляр ангорской кошки.

— Что? Хороша? — спросил Рафальский, указывая на кошку. — Не правда ли, некоторым образом, прелесть? Но не уважаю. Глупа. Глупее всех кошек. Вот опять! — вдруг оживился он. — Опять вам доказательство, как мы небрежны к психике наших домашних животных. Что мы знаем о кошке? А лошади? А коровы? А свиньи? Знаете, кто еще замечательно умен? Это свинья. Да, да, вы не смейтесь, — Ромашов и не думал смеяться, — свиньи страшно умны. У меня кабан в прошлом году какую штуку выдумал. Привозили мне барду с сахарного завода, некоторым образом, для огорода и для свиней. Так ему, видите ли, не хватало терпения дожидаться. Возчик уйдет за моим денщиком, а он зубами возьмет и вытащит затычку из бочки. Барда, знаете, льется, а он себе блаженствует. Да это что еще: один раз, когда его уличили в этом воровстве, так он не только вынул затычку, а отнес ее на огород и зарыл в грядку. Вот вам и свинья. Признаться, — Рафальский прищурил один глаз и сделал хитрое лицо, — признаться, я о своих свиньях маленькую статеечку пишу… Только шш!.. секрет… никому. Как-то неловко: подполковник славной русской армии и вдруг — о свиньях. Теперь у меня вот йоркширы. Видали? Хотите, пойдем поглядеть? Там у меня на дворе есть еще барсучок молоденький, премилый барсучишка… Пойдемте?

— Простите, Иван Антонович, — замялся Ромашов. — Я бы с радостью. Н-э только, ей-богу, нет времени.

Рафальский ударил себя ладонью по лбу.

— Ах, батюшки! Извините вы меня, ради бога. Я-то, старый, разболтался… Ну, ну, ну, идем скорее.

Они вошли в маленькую голую комнату, где буквально ничего не было, кроме низкой походной кровати, полотно которой провисло, точно дно лодки, да ночного столика с табуреткой. Рафальский отодвинул ящик столика и достал деньги.

— Очень рад служить вам, подпоручик, очень рад. Ну, вот… какие еще там благодарности!.. Пустое… Я рад… Заходите, когда есть время. Потолкуем.

Выйдя на улицу, Ромашов тотчас же наткнулся на Веткина. Усы у Павла Павловича были лихо растрепаны, а фуражка с приплюснутыми на боках, для франтовства, полями ухарски сидела набекрень.

— А-а! Принц Гамлег! — крикнул радостно Веткин. — Откуда и куда? Фу, черт, вы сияете, точно именинник.

— Я и есть именинник, — улыбнулся Ромашов.

— Да? А ведь и верно; Георгий и Александра. Божественно. Позвольте заключить в пылкие объятия!

Они тут же, на улице, крепко расцеловались.

— Может быть, по этому случаю зайдем в собрание? Вонзим точно по единой, как говорит наш великосветский друг Арчаковский? — предложил Веткин.

— Не могу, Павел Павлыч. Тороплюсь. Впрочем, кажется, вы сегодня уже подрезвились?

— О-о-о! — Веткин значительно и гордо кивнул подбородком вверх. — Я сегодня проделал такую комбинацию, что у любого министра финансов живот бы заболел от зависти.

— Именно?

Комбинация Веткина оказалась весьма простой, но не лишенной остроумия, причем главное участие в ней принимал полковой портной Хаим. Он взял от Веткина расписку в получении мундирной пары, но на самом деле изобретательный Павел Павлович получил от портного не мундир, а тридцать рублей наличными деньгами.

— И в конце концов оба мы остались довольны, — говорил ликующий Веткин, — и жид доволен, потому что вместо своих тридцати рублей получит из обмундировальной кассы сорок пять, и я доволен, потому что взогрею сегодня в собрании всех этих игрочишек. Что? Ловко обстряпано?

— Ловко! — согласился Ромашов. — Приму к сведению в следующий раз. Однако прощайте, Павел Павлыч. Желаю счастливой карты.

Они разошлись. Но через минуту Веткин окликнул товарища. Ромашов обернулся.

— Зверинец смотрели? — лукаво спросил Веткин, указывая через плечо большим пальцем на дом Рафальского.

Ромашов кивнул головой и сказал с убеждением:

— Брем у нас славный человек. Такой милый!

— Что и говорить! — согласился Веткин. — Только — псих!

## XIV

Пикник вышел не столько веселым, сколько крикливым и беспорядочно суматошливым. Приехали за три версты в Дубечную. Так называлась небольшая, десятин в пятнадцать, роща, разбросавшаяся на длинном пологом скате, подошву которого огибала узенькая светлая речонка. Роща состояла из редких, но прекрасных, могучих столетних дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны, свежие, веселые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной такой поляне уже дожидались посланные вперед денщики с самоварами и корзинами.

Прямо на земле разостлали скатерти и стали рассаживаться. Дамы устанавливали закуски и тарелки, мужчины помогали им с шутливым, преувеличенно любезным видом. Олизар повязался одной салфеткой, как фартуком, а другую надел на голову, в виде колпака, и представлял повара Лукича из офицерского клуба. Долго перетасовывали места, чтобы дамы сидели непременно вперемежку с кавалерами. Приходилось полулежать, полусидеть в неудобных позах, это было ново и занимательно, и по этому поводу молчаливый Лещенко вдруг, к общему удивлению и потехе, сказал с напыщенным и глупым видом:

— Мы теперь возлежим, точно древнеримские греки.

Шурочка посадила рядом с собой с одной стороны Тальмана, а с другой — Ромашова. Она была необыкновенно разговорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно-красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое, лихорадочное чувство. Иногда она без слов оборачивалась к Ромашову и смотрела на него молча, может быть только полусекундой больше, чем следовало бы, немного больше, чем всегда, но всякий раз в ее взгляде он ощущал ту же непонятную ему, горячую, притягивающую силу.

Осадчий, сидевший один во главе стола, приподнялся и стал на колени. Постучав ножом о стакан и добившись тишины, он заговорил низким грудным голосом, который сочными волнами заколебался в чистом воздухе леса:

— Ну-с, господа… Выпьем же первую чару за здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Дай ей бог всякого счастья и чин генеральши.

И, высоко подняв кверху большую рюмку, он заревел во всю мочь своей страшной глотки:

— Урра!

Казалось, вся роща ахнула от этого львиного крика, и гулкие отзвуки побежали между деревьями. Андрусевич, сидевший рядом с Осадчим, в комическом ужасе упал навзничь, притворяясь оглушенным. Остальные дружно закричали. Мужчины пошли к Шурочке чокаться. Ромашов нарочно остался последним, и она заметила это. Обернувшись к нему, она, молча и страстно улыбаясь, протянула свой стакан с белым вином. Глаза ее в этот момент вдруг расширились, потемнели, а губы выразительно, но беззвучно зашевелились, произнося какое-то слово. Но тотчас же она отвернулась и, смеясь, заговорила с Тальманом. «Что она сказала, — думал Ромашов, — ах, что же она сказала?» Это волновало и тревожило его. Он незаметно закрыл лицо руками и старался воспроизвести губами те же движения, какие делала Шурочка; он хотел поймать таким образом эти слева в своем воображении, но у него ничего не выходило. «Мой милый?», «Люблю вас?», «Ромочка?» — Нет, не то. Одно он знал хорошо, что сказанное заключалось в трех слогах.

Потом пили за здоровье Николаева и за успех его на будущей службе в генеральном штабе, пили в таком духе, точно никогда и никто не сомневался, что ему действительно удастся, наконец, поступить в академию. Потом, по предложению Шурочки, выпили довольно вяло за именинника Ромашова; пили за присутствующих дам, и за всех присутствующих, и за всех вообще дам, и за славу знамен родного полка, и за непобедимую русскую армию…

Тальман, уже достаточно пьяный, поднялся и закричал сипло, но растроганно:

— Господа, я предлагаю выпить тост за здоровье нашего любимого, нашею обожаемого монарха, за которого каждый из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови!

Последние слова он выдавил из себя неожиданно тонкой, свистящей фистулой, потому что у него не хватило в груди воздуху. Его цыганские, разбойничьи черные глаза с желтыми белками вдруг беспомощно и жалко заморгали, и слезы полились по смуглым щекам.

— Гимн, гимн! — восторженно потребовала маленькая толстушка Андрусевич.

Все встали. Офицеры приложили руки к козырькам. Нестройные, но воодушевленные звуки понеслись по роще, и всех громче, всех фальшивее, с липом еще более тоскливым, чем обыкновенно, пел чувствительный штабс-капитан Лещенко.

Вообще пили очень много, как и всегда, впрочем, пили в полку: в гостях друг у друга, в собрании, на торжественных обедах и пикниках. Говорили уже все сразу, и отдельных голосов нельзя было разобрать. Шурочка, выпившая много белого вина, вся раскрасневшаяся, с глазами, которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову.

— Я не люблю этих провинциальных пикников, в них есть что-то мелочное и пошлое, — сказала она. — Правда, это нужно было сделать для мужа, перед отъездом, но боже, как все это глупо! Ведь все это можно было устроить у нас дома, в саду, — вы знаете, какой у нас прекрасный сад — старый, тенистый. И все-таки, не знаю почему, я сегодня безумно счастлива. Господи, как я счастлива! Нет, Ромочка, милый, я знаю почему, и я вам это потом скажу, я вам потом скажу… Я скажу… Ах, нет, нет, Ромочка, я ничего, ничего не знаю.

Веки ее прекрасных глаз полузакрылись, а во всем лице было что-то манящее и обещающее и мучительно-нетерпеливое. Оно стало бесстыдно-прекрасным, и Ромашов, еще не понимая, тайным инстинктом чувствовал на себе страстное волнение, овладевшее Шурочкой, чувствовал по той сладостной дрожи, которая пробегала по его рукам и ногам и по его груди.

— Вы сегодня необыкновенны. Что с вами? — спросил он шепотом.

Она вдруг ответила с каким-то наивным и кротким удивлением:

— Я вам говорю, что не знаю. Я не знаю. Посмотрите: небо голубое, свет голубой… И у меня самой какое-то чудесное голубое настроение, какал-то голубая радость! Налейте мне еще вина, Ромочка, мой милый мальчик…

На другом конце скатерти зашел разговор о предполагаемой войне с Германией, которую тогда многие считали делом почти решенным. Завязался спор, крикливый, в несколько ртов зараз, бестолковый. Вдруг послышался сердитый, решительный голос Осадчего. Он был почти пьян, но это выражалось у него только тем, что его красивое лицо страшно побледнело, а тяжелый взгляд больших черных глаз стал еще сумрачнее.

— Ерунда! — воскликнул он резко. — Я утверждаю, что все это ерунда. Война выродилась. Все выродилось на свете. Дети родятся идиотами, женщины сделались кривобокими, у мужчин нервы. «Ах, кровь! Ах, я падаю в обморок!» — передразнил он кого-то гнусавым тоном. — И все это оттого, что миновало время настоящей, свирепой, беспощадной войны. Разве это война? За пятнадцать верст в тебя — бах! — и ты возвращаешься домой героем. Боже мой, какая, подумаешь, доблесть! Взяли тебя в плен. «Ах, миленький, ах, голубчик, не хочешь ли покурить табачку? Или, может быть, чайку? Тепло ли тебе, бедненький? Мягко ли?» У-у! — Осадчий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, готовый нанести удар. — В средние века дрались — это я понимаю. Ночной штурм. Весь город в огне. «На три дня отдаю город солдатам на разграбление!» Ворвались. Кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развалинах! Женщин — обнаженных, прекрасных, плачущих — тащили за волосы. Жалости не было. Они были сладкой добычей храбрецов!..

— Однако вы не очень распространяйтесь, — заметила шутливо Софья Павловна Тальман.

— По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра качались черные тела на виселицах, и над ними кричали вороны. А под виселицами горели костры и пировали победители. Пленных но было. Зачем пленные? Зачем отрывать для них лишние силы? А-ах! — яростно простонал со сжатыми зубами Осадчий. — Что это было за смелое, что за чудесное время! А битвы! Когда сходились грудь с грудью и дрались часами, хладнокровно и бешено, с озверением и с поразительным искусством. Какие это были люди, какая страшная физическая сила! Господа! — Он поднялся на ноги и выпрямился во весь свой громадный рост, и голос его зазвенел восторгом и дерзостью. — Господа, я знаю, что вы из военных училищ вынесли золотушные, жиденькие понятия о современной гуманной войне. Но к пью… Если даже никто не присоединится ко мне, я пью один за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость!

Все молчали, точно подавленные неожиданным экстазом этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и глядели на него с любопытством и страхом. Но вдруг вскочил с своего места Бек-Агамалов. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули, а одна из женщин вскочила в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали, крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он задыхался и не находил слов.

— О, о!.. Вот это… вот, я понимаю!! А! — Он с судорожной силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку Осадчего. — К черту эту кислятину! К черту жалость! А! Р-руби!

Ему нужно было отвести на чем-нибудь свою варварскую душу, в которой в обычное время тайно дремала старинная, родовая кровожадность. Он, с глазами, налившимися кровью, оглянулся кругом и, вдруг выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту. Ветки и молодые листья полетели на скатерть, осыпав, как дождем, всех сидящих.

— Бек! Сумасшедший! Дикарь! — закричали дамы.

Бек-Агамалов сразу точно опомнился и сел. Он казался заметно сконфуженным за свой неистовый порыв, но его тонкие ноздри, из которых с шумом вылетало дыхание, раздувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гневом, исподлобья, но с вызовом обводили присутствующих.

Ромашов слушал в не слушал Осадчего. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, не существующим на земле напитком. Ему казалось, что теплая, нежная паутина мягко и лениво окутывает все его тело и ласково щекочет и наполняет душу внутренним ликующим смехом. Его рука часто, *как будто* неожиданно для него самого, касалась руки Шурочки, но ни он, ни она больше не глядели друг на друга. Ромашов точно дремал. Голоса Осадчего и Бек-Агамалова доносились до него из какого-то далекого, фантастического тумана и были понятны, но пусты.

«Осадчий… Он жестокий человек, он меня не любит, — думал Ромашов, и тот, о ком он думал, был теперь не прежний Осадчий а новый, страшно далекий, и не настоящий, а точно движущийся на экране живой фотографии. — У Осадчего жена маленькая, худенькая, жалкая, всегда беременная… Он ее никуда с собой не берет… У него в прошлом году повесился молодой солдат… Осадчий… Да… Что такое Осадчий? Вот теперь Бек кричит… Кто этот человек? Разве я его знаю? Да, я его знаю, но почему же он такой странный, чужой, непонятный мне? А вот кто-то сидит со мною рядом… Кто ты? От тебя исходит радость, и я пьян от этой радости. Голубая радость!.. Вон против меня сидит Николаев. Он недоволен. Он все молчит. Глядит сюда мимоходом, точно скользит глазами. Ах, пускай сердится — все равно. О, голубая радость!»

Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на полянку. Младшая Михина вдруг спохватилась:

— Господа, а что же фиалки? Здесь, говорят, пропасть фиалок. Пойдемте собирать.

— Поздно, — заметил кто-то. — Теперь в траве ничего не увидишь.

— Теперь в траве легче потерять, чем найти, — сказал Диц, скверно засмеявшись.

— Ну, тогда давайте разложим костер, — предложил Андрусевич.

Натаскали огромную кучу хвороста и прошлогодних сухих листьев и зажгли костер. Широкий столб веселого огня поднялся к небу. Точно испуганные, сразу исчезли последние остатки дня уступив место мраку, который, выйдя из рощи, надвинулся на костер. Багровые пятна пугливо затрепетали по вершинам дубов и казалось, что деревья зашевелились, закачались, то выглядывая в красное пространство света, то прячась назад в темноту.

Все встали из-за стола. Денщики зажгли свечи в стеклянных колпаках. Молодые офицеры шалили, как школьники. Олизар боролся с Михиным, и, к удивлению всех, маленький, неловкий Михин два раза подряд бросал на землю своего более высокого и стройного противника. Потом стали прыгать через огонь. Андрусевич представлял, как бьется об окно муха и как старая птичница ловит курицу, изображал, спрятавшись за кусты, звук пилы и ножа на точиле, — он на это был большой мастер. Даже и Диц довольно ловко жонглировал пустыми бутылками.

— Позвольте-ка, господа, вот я вам покажу замечательный фокус! — закричал вдруг Тальман. — Здэсь нэт никакой чудеса или волшебство, а не что иной, как проворство рук. Прошу почтеннейший публикум обратить внимание, что у меня нет никакой предмет в рукав. Начинаю. Ейн, цвей, дрей… алле гоп!..

Он быстро, при общем хохоте, вынул из кармана две новые колоды карт и с треском распечатал их одну за другой.

— Винт, господа? — предложил он. — На свежем воздухе? А?

Осадчий, Николаев и Андрусевич уселись за карты, Лещенко с глубоким вздохом поместился сзади них. Николаев долго с ворчливым неудовольствием отказывался, но его все-таки уговорили. Садясь, он много раз с беспокойством оглядывался назад, ища глазами Шурочку, но так как из-за света костра ему трудно было присмотреться, то каждый раз его лицо напряженно морщилось и принимало жалкое, мучительное и некрасивое выражение.

Остальные постепенно разбрелись по поляне невдалеке от костра. Затеяли было играть в горелки, но эта забава вскоре окончилась, после того как старшая Михина, которую поймал Дин, вдруг раскраснелась до слез и наотрез отказалась играть. Когда она говорила, ее голос дрожал от негодования и обиды, но причины она все-таки не объяснила.

Ромашов пошел в глубь рощи по узкой тропинке. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ныло от неясного блаженного предчувствия. Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток, потом быстрые шаги и шелест шелковой нижней юбки. Шурочка поспешно шла к нему — легкая и стройная, мелькая, точно светлый лесной дух, своим белым платьем между темными стволами огромных деревьев. Ромашов пошел ей навстречу и без слов обнял ее. Шурочка тяжело дышала от поспешной ходьбы. Ее дыхание тепло и часто касалось щеки и губ Ромашова, и он ощущал, как под его рукой бьется ее сердце.

— Сядем, — сказала Шурочка.

Она опустилась на траву и стала поправлять обеими руками волосы на затылке. Ромашов лег около ее ног, и так как почва на этом месте заметно опускалась вниз, то он, глядя на нее, видел только нежные и неясные очертания ее шеи и подбородка.

Вдруг она спросила тихим, вздрагивающим голосом:

— Ромочка, хорошо вам?

— Хорошо, — ответил он. Потом подумал одну секунду, вспомнил весь нынешний день и повторил горячо: — О да, мне сегодня так хорошо, так хорошо! Скажите, отчего вы сегодня такая?

— Какая?

Она наклонилась к нему ближе, вглядываясь в его глаза, и все ее лицо стало сразу видимым Ромашову.

— Вы чудная, необыкновенная. Такой прекрасной вы еще никогда не были. Что-то в вас поет и сияет. В вас что-то новое, загадочное, я не понимаю что… Но… вы не сердитесь на меня, Александра Петровна… вы не боитесь, что вас хватятся?

Она тихо засмеялась, и этот низкий, ласковый смех отозвался в груди Ромашова радостной дрожью.

— Милый Ромочка! Милый, добрый, трусливый, милый Ромочка. Я ведь вам сказала, что этот день наш. Не думайте ни о чем, Ромочка. Знаете, отчего я сегодня такая смелая? Нет? Но знаете? Я в вас влюблена сегодня. Нет, нет, вы не воображайте, это завтра же пройдет…

Ромашов протянул к ней руки, ища ее тела.

— Александра Петровна… Шурочка… Саша! — произнес он умоляюще.

— Не называйте меня Шурочкой, я но хочу этого. Все другое, только не это… Кстати, — вдруг точно вспомнила она, — какое у вас славное имя — Георгий. Гораздо лучше, чем Юрий… Гео-ргий! — протянула она медленно, как будто вслушиваясь в звуки этого слова. — Это гордо.

— О милая! — сказал Ромашов страстно.

— Подождите… Ну, слушайте же. Это самое важное. Я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате. О, я бы сейчас же узнала эту комнату до самых мелочей. Много было ковров, но горел один только красный фонарь, новое пианино блестело, два окна с красными занавесками, — все было красное. Где-то играла музыка, ее не было видно, и мы с вами танцевали… Нет, нет, только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная близость. Мы кружились быстро-быстро, но не касались ногами пола, а точно плавали в воздухе я кружились, кружились, кружились. Ах, это продолжалось так долго и было так невыразимо чудно-приятно… Слушайте, Ромочка, вы летаете во сне?

Ромашов не сразу ответил. Он точно вступил в странную, обольстительную, одновременно живую и волшебную сказку. Да сказкой и были теплота и тьма этой весенней ночи, и внимательные, притихшие деревья кругом, и странная, милая женщина в белом платье, сидевшая рядом, так близко от него. И, чтобы очнуться от этого обаяния, он должен был сделать над собой усилие.

— Конечно, летаю, — ответил он. — Но только с каждым годом все ниже и ниже. Прежде, в детстве, я летал под потолком. Ужасно смешно было глядеть на людей сверху: как будто они ходят вверх ногами. Они меня старались достать половой щеткой, но не могли. А я все летаю и все смеюсь. Теперь уж этого нет, теперь я только прыгаю, — сказал Ромашов со вздохом. — Оттолкнусь ногами и лечу над землей. Так, шагов двадцать — и низко, не выше аршина.

Шурочка совсем опустилась на землю, оперлась о нее локтем и положила на ладонь голову. Помолчав немного, она продолжала задумчиво:

— И вот, после этого сна, утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, сама к вам прибежала. Потому-то я и просила вас прийти не раньше четырех. Я боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня?

В пол-аршина от лица Ромашова лежали ее ноги, скрещенные одна на другую, две маленькие ножки в низких туфлях и в черных чулках с каким-то стрельчатым белым узором. С отуманенной головой, с шумом в ушах, Ромашов вдруг крепко прижался зубами к этому живому, упругому, холодному, сквозь чулок, телу.

— Ромочка… Не надо, — услышал он над собой ее слабый, протяжный и точно ленивый голос.

Он поднял голову. И опять все ему показалось в этот миг чудесной, таинственной лесной сказкой. Ровно подымалась по скату вверх роща с темной травой и с черными, редкими, молчаливыми деревьями, которые неподвижно и чутко прислушивались к чему-то сквозь дремоту. А на самом верху, сквозь густую чащу верхушек и дальних стволов, над ровной, высокой чертой горизонта рдела узкая полоса зари — не красного и не багрового цвета, а темно-пурпурного, необычайного, похожего на угасающий уголь или на пламя, преломленное сквозь густое красное вино. И на этой горе, между черных деревьев, в темной пахучей траве, лежала, как отдыхающая лесная богиня, непонятная прекрасная белая женщина.

Ромашов придвинулся, к ней ближе. Ему казалось, что от лица ее идет бледное сияние. Глаз ее не было видно — вместо них были два больших темных пятна, но Ромашов чувствовал, что она смотрит на него.

— Это сказка! — прошептал он тихо одним движением рта.

— Да, милый, сказка…

Он стал целовать ее платье, отыскал ее руку и приник лицом к узкой, теплой, душистой ладони, и в то же время он говорил, задыхаясь, обрывающимся голосом:

— Саша… я люблю вас… Я люблю…

Теперь, поднявшись выше, он ясно видел ее глаза, которые стали огромными, черными и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в темноте все ее знакомо-незнакомое лицо. Он жадными, пересохшими губами искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом:

— Нет, нет, нет… Мой милый, нет…

— Дорогая моя… Какое счастье!.. Я люблю тебя… — твердил Ромашов в каком-то блаженном бреду. — Я люблю тебя. Посмотри: эта ночь, и тишина, и никого, кроме нас. О счастье мое, как я тебя люблю!

Но она говорила шепотом: «нет, нет», тяжело дыша, лежа всем телом на земле. Наконец она заговорила еле слышным голосом, точно с трудом:

— Ромочка, зачем вы такой… слабый! Я не хочу скрывать, меня влечет к вам, вы мне милы всем: своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, по я о вас всегда думаю, я вижу вас во сне, я… чувствую вас… Меня волнует ваша близость и ваши прикосновения. Но зачем вы такой жалкий! Ведь жалость — сестра презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы были сильный! — Она сняла с головы Ромашова фуражку и стала потихоньку гладить и перебирать его мягкие волосы. — Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!..

— Я сделаю, я сделаю это! — тихо воскликнул Ромашов. — Будьте только моей. Идите ко мне. Я всю жизнь…

Она перебила его, с ласковой и грустной улыбкой, которую он услышал в ее тоне:

— Верю, что вы хотите, голубчик, верю, но вы ничего не сделаете. Я знаю, что нет. О, если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла за вами. Ах, Ромочка, славный мой. Я слышала, какая-то легенда говорит, что бог создал сначала всех людей целыми, а потом почему-то разбил каждого на две части и разбросал по свету. И вот ищут целые века одна половинка другую — и все не находят. Дорогой мой, ведь мы с вами — эти две половинки; у нас все общее: и любимое, и нелюбимое, и мысли, и сны, и желания. Мы понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже без слов, одной душой. И вот я должна отказаться от тебя. Ах, это уже второй раз в моей жизни.

— Да, я знаю.

— Он говорил тебе? — спросила Шурочка быстро.

— Нет, это вышло случайно. Я знаю.

Они замолчали. На небе дрожащими зелеными точечками загорались первые звезды. Справа едва-едва доносились голоса, смех и чье-то пение. Остальная часть рощи, погруженная в мягкий мрак, была полна священной, задумчивой тишиной. Костра отсюда не было видно, но изредка по вершинам ближайших дубов, точно отблеск дальней зарницы, мгновенно пробегал красный трепещущий свет. Шурочка тихо гладила голову и лицо Ромашова; когда же он находил губами ее руку, она сама прижимала ладонь к его рту.

— Я своего мужа не люблю, — говорила она медленно, точно в раздумье. — Он груб, он нечуток, неделикатен. Ах, — это стыдно говорить, — но мы, женщины, никогда не забываем первого насилия над нами. Потом он так дико ревнив. Он до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским. Выпытывает каждую мелочь, делает такие чудовищные предположения, фу… Задает мерзкие вопросы. Господи! Это же был невинный полудетский роман! Но он от одного его имени приходит в бешенство.

Когда она говорила, ее голос поминутно вздрагивал, и вздрагивала ее рука, гладившая его голову.

— Тебе холодно? — спросил Ромашов.

— Нет, милый, мне хорошо, — сказала она кротко.

И вдруг с неожиданной, неудержимой страстью она воскликнула:

— Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя!

Тогда он начал робко, неуверенным тоном, взяв ее руку в свою и тихонько прикасаясь к ее тонким пальцам:

— Скажи мне… Прошу тебя. Ты ведь сама говоришь, что не любишь его… Зачем же вы вместе?..

Но она резко приподнялась с земли, села и нервно провела руками по лбу и по щекам, точно просыпаясь.

— Однако поздно. Пойдемте. Еще начнут разыскивать, пожалуй, — сказала она другим, совершенно спокойным голосом.

Они встали с травы и стояли друг против друга молча, слыша дыхание друг друга, глядя в глаза и не видя их.

— Прощай! — вдруг воскликнула она звенящим голосом. — Прощай, мое счастье, мое недолгое счастье!

Она обвилась руками вокруг его шеи и прижалась горячим влажным ртом к его губам и со сжатыми зубами, со стоном страсти прильнула к нему всем телом, от ног до груди. Ромашову почудилось, что черные стволы дубов покачнулись в одну сторону, а земля поплыла в другую, и что время остановилось.

Потом она с усилием освободилась из его рук и сказала твердо:

— Прощай. Довольно. Теперь пойдем.

Ромашов упал перед ней на траву, почти лег, обнял ее ноги и стал целовать ее колени долгими, крепкими поцелуями.

— Саша, Сашенька! — лепетал он бессмысленно. — Отчего ты не хочешь отдаться мне? Отчего? Отдайся мне!..

— Пойдем, пойдем, — торопила она его. — Да встаньте же, Георгий Алексеевич. Нас хватятся. Пойдемте!

Они пошли по тому направлению, где слышались голоса. У Ромашова подгибались и дрожали ноги и било в виски. Он шатался на ходу.

— Я не хочу обмана, — говорила торопливо и еще задыхаясь Шурочка, — впрочем, нет, я выше обмана, но я не хочу трусости. В обмане же — всегда трусость. Я тебе скажу правду: я мужу никогда не изменяла и не изменю ему до тех пор, пока не брошу его почему-нибудь. Но его ласки и поцелуи для меня ужасны, они вселяют в меня омерзение. Послушай, я только сейчас, — нет, впрочем, еще раньше, когда думала о тебе, о твоих губах, — я только теперь поняла, какое невероятное наслаждение, какое блаженство отдать себя любимому человеку. Но я не хочу трусости, не хочу тайного воровства. И потом… подожди, нагнись ко мне, милый, я скажу тебе на ухо, это стыдно… потом — я не хочу ребенка. Фу, какая гадость! Обер-офицерша, сорок восемь рублей жалованья, шестеро детей, пеленки, нищета… О, какой ужас!

Ромашов с недоумением посмотрел на нее.

— Но ведь у вас муж… Это же неизбежно, — сказал он нерешительно.

Шурочка громко рассмеялась. В этом смехе было что-то инстинктивно неприятное, от чего пахнуло холодком в душу Ромашова.

— Ромочка… ой-ой-ой, какой же вы глу-упы-ый! — протянула она знакомым Ромашову тоненьким, детским голосом. — Неужели вы этих вещей не понимаете? Нет, скажите правду — не понимаете?

Он растерянно пожал плечами. Ему стало как будто неловко за свою наивность.

— Извините… но я должен сознаться… честное слово…

— Ну, и бог с вами, и не нужно. Какой вы чистый, милый, Ромочка! Ну, так вот когда вы вырастете, то вы наверно вспомните мои слова: что возможно с мужем, то невозможно с любимым человеком. Ах, да не думайте, пожалуйста, об этом. Это гадко — но что же поделаешь.

Они подходили уже к месту пикника. Из-за деревьев было видно пламя костра. Корявые стволы, загораживавшие огонь, казались отлитыми из черного металла, и на их боках мерцал красный изменчивый свет.

— Ну, а если я возьму себя в руки? — спросил Ромашов. — Если я достигну того же, чего хочет твой муж, или еще большего? Тогда?

Она прижалась крепко к его плечу щекой и ответила порывисто:

— Тогда — да. Да, да, да…

Они уже вышли на поляну. Стал виден весь костер и маленькие черные фигуры людей вокруг него.

— Ромочка, теперь последнее, — сказала Александра Петровна торопливо, но с печалью и тревогой в голосе. — Я не хотела портить вам вечер и не говорила. Слушайте, вы не должны у нас больше бывать.

Он остановился изумленный, растерянный.

— Почему же? О Саша!..

— Идемте, идемте… Я не знаю, *кто* это делает, но мужа осаждают анонимными письмами. Он мне не показывал, а только вскользь говорил об этом. Пишут какую-то грязную площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам.

— Саша! — умоляюще простонал Ромашов, протягивая к ней руки.

— Ах, мне это самой больно, мой милый, мой дорогой, мой нежный! Но ото необходимо. Итак, слушайте: я боюсь, что он сам будет говорить с вами об этом… Умоляю вас, ради бога, будьте сдержанны. Обещайте мне это.

— Хорошо, — произнес печально Ромашов.

— Ну, вот и все. Прощайте, мой бедный. Бедняжка! Дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так, чтобы мне стало больно. Вот так… Ой!.. Теперь прощайте. Прощай, радость моя!

Не доходя костра, они разошлись. Шурочка пошла прямо вверх, а Ромашов снизу, обходом, вдоль реки. Винт еще не окончился, но их отсутствие было замечено. По крайней мере Диц так нагло поглядел на подходящего к костру Ромашова и так неестественно-скверно кашлянул, что Ромашову захотелось запустить в него горящей головешкой.

Потом он видел, как Николаев встал из-за карт и, отведя Шурочку в сторону, долго что-то ей говорил с гневными жестами и со злым лицом. Она вдруг выпрямилась и сказала ему несколько слов с непередаваемым выражением негодования и презрения. И этот большой сильный человек вдруг покорно съежился и отошел от нее с видом укрощенного, но затаившего злобу дикого животного.

Вскоре пикник кончился. Ночь похолодела, и от реки потянуло сыростью. Запас веселости давно истощился, и все разъезжались усталые, недовольные, не скрывая зевоты. Ромашов опять сидел в экипаже против барышень Михиных и всю дорогу молчал. В памяти его стояли черные спокойные деревья, и темная гора, и кровавая полоса зари над ее вершиной, и белая фигура женщины, лежавшей в темной пахучей траве. Но все-таки сквозь искреннюю, глубокую и острую грусть он время от времени думал про самого себя патетически:

«Его красивое лицо было подернуто облаком скорби».

## XVI

Из лагеря в город вела только одна дорога — через полотно железной дороги, которое в этом месте проходило в крутой и глубокой выемке. Ромашов по узкой, плотно утоптанной, почти отвесной тропинке быстро сбежал вниз и стал с трудом взбираться по другому откосу. Еще с середины подъема он заметил, что кто-то стоит наверху в кителе и в шинеле внакидку. Остановившись на несколько секунд и прищурившись, он узнал Николаева.

«Сейчас будет самое неприятное!» — подумал Ромашов. Сердце у него тоскливо заныло от тревожного предчувствия. Но он все-таки покорно подымался кверху.

Офицеры не видались около пяти дней, но теперь они почему-то не поздоровались при встрече, и почему-то Ромашов не нашел в этом ничего необыкновенного, точно иначе и не могло случиться в этот тяжелый, несчастный день. Ни один из них даже не прикоснулся рукой к фуражке.

— Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеич, — сказал Николаев, глядя куда-то вдаль, на лагерь, через плечо Ромашова.

— К вашим услугам, Владимир Ефимыч, — ответил Ромашов с фальшивой развязностью, но дрогнувшим голосом. Он нагнулся, сорвал прошлогоднюю сухую коричневую былинку и стал рассеянно ее жевать. В то же время он пристально глядел, как в пуговицах на пальто Николаева отражалась его собственная фигура, с узкой маленькой головкой и крошечными ножками, но безобразно раздутая в боках.

— Я вас не задержу, мне только два слова, — сказал Николаев.

Он произносил слова особенно мягко, с усиленной вежливостью вспыльчивого и рассерженного человека, решившегося быть сдержанным. Но так как разговаривать, избегая друг друга глазами, становилось с каждой секундой все более неловко, то Ромашов предложил вопросительно:

— Так пойдемте?

Извилистая стежка, протоптанная пешеходами, пересекала большое свекловичное поле. Вдали виднелись белые домики и красные черепичные крыши города. Офицеры пошли рядом, сторонясь друг от друга и ступая по мясистой, густой, хрустевшей под ногами зелени. Некоторое время оба молчали. Наконец Николаев, переведя широко и громко, с видимым трудом, дыхание, заговорил первый:

— Я прежде всего должен поставить вопрос: относитесь ли вы с должным уважением к моей жене… к Александре Петровне?

— Я не понимаю, Владимир Ефимович… — возразил Ромашов. — Я, с своей стороны, тоже должен спросить вас…

— Позвольте! — вдруг загорячился Николаев. — Будем спрашивать поочередно, сначала я, а потом вы. А иначе мы не столкуемся. Будемте говорить прямо и откровенно. Ответьте мне прежде всего: интересует вас хоть сколько-нибудь то, что о ней говорят и сплетничают? Ну, словом… черт!.. ее репутация? Нет, нет, подождите, не перебивайте меня… Ведь вы, надеюсь, не будете отрицать того, что вы от нее и от меня не видели ничего, кроме хорошего, и что вы были в нашем доме приняты, как близкий, свой человек, почти как родной.

Ромашов оступился в рыхлую землю, неуклюже споткнулся и пробормотал стыдливо:

— Поверьте, я всегда буду благодарен вам и Александре Петровне…

— Ах, нет, вовсе не в этом дело, вовсе не в этом. Я не ищу вашей благодарности, — рассердился Николаев. — Я хочу сказать только то, что моей жены коснулась грязная, лживая сплетня, которая… ну, то есть в которую… — Николаев часто задышал и вытер лицо платком. — Ну, словом, здесь замешаны и вы. Мы оба — я и она — мы получаем чуть ли не каждый день какие-то подлые, хамские анонимные письма. Не стану вам их показывать… мне омерзительно это. И вот в этих письмах говорится… — Николаев замялся на секунду. — Ну, да черт!.. говорится о том, что вы — любовник Александры Петровны и что… ух, какая подлость!.. Ну, и так далее… что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания и будто бы весь полк об этом знает. Мерзость!

Он злобно заскрипел зубами и сплюнул.

— Я знаю, кто писал, — тихо сказал Ромашов, отворачиваясь в сторону.

— Знаете?

Николаев остановился и грубо схватил Ромашова за рукав. Видно было, что внезапный порыв гнева сразу разбил его искусственную сдержанность. Его воловьи глаза расширились, лицо налилось кровью, в углах задрожавших губ выступила густая слюна. Он яростно закричал, весь наклоняясь вперед и приближая свое лицо в упор к лицу Ромашова:

— Так как же вы смеете молчать, если знаете! В вашем положении долг каждого мало-мальски порядочного человека — заткнуть рот всякой сволочи. Слышите вы… армейский донжуан! Если вы честный человек, а не какая-нибудь…

Ромашов, бледнея, посмотрел с ненавистью в глаза Николаеву. Ноги и руки у него вдруг страшно отяжелели, голова сделалась легкой и точно пустой, а сердце упало куда-то глубоко вниз и билось там огромными, болезненными толчками, сотрясая все тело.

— Я попрошу вас не кричать на меня, — глухо и протяжно произнес Ромашов. — Говорите приличнее, я не позволю вам кричать.

— Я вовсе на вас и не кричу, — все еще грубо, но понижая тон, возразил Николаев. — Я вас только убеждаю, хотя имею право требовать. Наши прежние отношения дают мне это право. Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны прекратить эту травлю.

— Хорошо, я сделаю все, что могу, — сухо ответил Ромашов.

Он повернулся и пошел вперед, посередине тропинки. Николаев тотчас же догнал его.

— И потом… только вы, пожалуйста, не сердитесь… — заговорил Николаев смягченно, с оттенком замешательства. — Уж раз мы начали говорить, то лучше говорить все до конца… Не правда ли?

— Да? — полувопросительно произнес Ромашов.

— Вы сами видели, с каким чувством симпатии мы к вам относились, то есть я и Александра Петровна. И если я теперь вынужден… Ах, да вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни!

— Хорошо, — грустно ответил Ромашов. — Я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели просить меня? Ну, хорошо. Впрочем, я и сам решил прекратить мои посещения. Несколько дней тому назад я зашел всего на пять минут, возвратить Александре Петровне ее книги, и, смею уверить вас, это в последний раз.

— Да… так вот… — сказал неопределенно Николаев и смущенно замолчал.

Офицеры в эту минуту свернули с тропинки на шоссе. До города оставалось еще шагов триста, и так как говорить было больше не о чем, то оба шли рядом, молча и не глядя друг на друга. Ни один не решался — ни остановиться, ни повернуть назад. Положение становилось с каждой минутой все более фальшивым и натянутым.

Наконец около первых домов города им попался навстречу извозчик. Николаев окликнул его.

— Да… так вот… — опять нелепо промолвил он, обращаясь к Ромашову. — Итак, до свидания, Юрий Алексеевич.

Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Но когда Ромашов глядел на удаляющийся в пыли белый крепкий затылок Николаева, он вдруг почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его жизни только что отрезали что-то самое большое, самое главное.

Он медленно пошел домой. Гайнан встретил его на дворе, еще издали дружелюбно и весело скаля зубы. Снимая с подпоручика пальто, он все время улыбался от удовольствия и, по своему обыкновению, приплясывал на месте.

— Твоя не обедал? — спрашивал он с участливой фамильярностью. — Небось голодный? Сейчас побежу в собранию, принесу тебе обед.

— Убирайся к черту! — визгливо закричал на него Ромашов. — Убирайся, убирайся и не смей заходить ко мне в комнату. И кто бы ни спрашивал — меня нет дома. Хоть бы сам государь император пришел.

Он лег на постель и зарылся головой в подушку, вцепившись в нее зубами. У него горели глаза, что-то колючее, постороннее распирало и в то же время сжимало горло, и хотелось плакать. Он жадно искал этих горячих и сладостных слез, этих долгих, горьких, облегчающих рыданий. И он снова и снова нарочно вызывал в воображении прошедший день, сгущая все нынешние обидные и позорные происшествия, представляя себе самого себя, точно со стороны, оскорбленным, несчастным, слабым и заброшенным и жалостно умиляясь над собой. Но слезы не приходили.

Потом случилось что-то странное. Ромашову показалось, что он вовсе не спал, даже не задремал ни на секунду, а просто в течение одного только момента лежал без мыслей, закрыв глаза. И вдруг он неожиданно застал себя бодрствующим, с прежней тоской на душе. Но в комнате уже было темно. Оказалось, что в этом непонятном состоянии умственного оцепенения прошло более пяти часов.

Ему захотелось есть. Он встал, прицепил шашку, накинул шинель на плечи и пошел в собрание. Это было недалеко, всего шагов двести, и туда Ромашов всегда ходил не с улицы, а через черный ход, какими-то пустырями, огородами и перелазами.

В столовой, в бильярдной и на кухне светло горели лампы, и оттого грязный, загроможденный двор офицерского собрания казался черным, точно залитым чернилами. Окна были всюду раскрыты настежь. Слышался говор, смех, пение, резкие удары бильярдных шаров.

Ромашов уже взошел на заднее крыльцо, но вдруг остановился, уловив в столовой раздраженный и насмешливый голос капитана Сливы. Окно было в двух шагах, и, осторожно заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину своего ротного командира.

— В-вся рота идет, к-как один ч-человек — ать! ать! ать! — говорил Слива, плавно подымая и опуская протянутую ладонь, — а *оно одно* , точно на смех — о! о! — як тот козел. — Он суетливо и безобразно ткнул несколько раз указательным пальцем вверх. — Я ему п-прямо сказал б-без церемонии: уходите-ка, п-почтеннейший, в друг-гую роту. А лучше бы вам и вовсе из п-полка уйти. Какой из вас к черту офицер? Так, м-междометие какое-то…

Ромашов зажмурил глаза и съежился. Ему казалось, что если он сейчас пошевелится, то все сидящие в столовой заметят это и высунутся из окон. Так простоял он минуту или две. Потом, стараясь дышать как можно тише, сгорбившись и спрятав голову в плечи, он на цыпочках двинулся вдоль стены, прошел, все ускоряя шаг, до ворот и, быстро перебежав освещенную луной улицу, скрылся в густой тени противоположного забора.

Ромашов долго кружил в этот вечер по городу, держась все время теневых сторон, но почти не сознавая, по каким улицам он идет. Раз он остановился против дома Николаевых, который ярко белел в лунном свете, холодно, глянцевито и странно сияя своей зеленой металлической крышей. Улица была мертвенно тиха, безлюдна и казалась незнакомой. Прямые четкие тени от домов и заборов резко делили мостовую пополам — одна половина была совсем черная, а другая масляно блестела гладким, круглым булыжником.

За темно-красными плотными занавесками большим теплым пятном просвечивал свет лампы. «Милая, неужели ты не чувствуешь, как мне грустно, как я страдаю, как я люблю тебя!» — прошептал Ромашов, делая плачущее лицо и крепко прижимая обе руки к груди.

Ему вдруг пришло в голову заставить Шурочку, чтобы она услышала и поняла его на расстоянии, сквозь стены комнаты. Тогда, сжав кулаки так сильно, что под ногтями сделалось больно, сцепив судорожно челюсти, с ощущением холодных мурашек по всему телу, он стал твердить в уме, страстно напрягая всю свою волю:

«Посмотри в окно… Подойди к занавеске. Встань с дивана и подойди к занавеске. Выгляни, выгляни, выгляни. Слышишь, я тебе приказываю, сейчас же подойди к окну».

Занавески оставались неподвижными. «Ты не слышишь меня! — с горьким упреком прошептал Ромашов. — Ты сидишь теперь с ним рядом, около лампы, спокойная, равнодушная, красивая. Ах, боже мой, боже, как я несчастлив!»

Он вздохнул и утомленной походкой, низко опустив голову, побрел дальше.

Он проходил и мимо квартиры Назанского, но там было темно. Ромашову, правда, почудилось, что кто-то белый мелькал по неосвещенной комнате мимо окон, но ему стало почему-то страшно, и он не решился окликнуть Назанского.

Спустя несколько дней Ромашов вспоминал, точно далекое, никогда не забываемое сновидение, эту фантастическую, почти бредовую прогулку. Он сам не мог бы сказать, каким образом очутился он около еврейского кладбища. Оно находилось за чертой города и взбиралось на гору, обнесенное низкой белой стеной, тихое и таинственное. Из светлой спящей травы печально подымались кверху голые, однообразные, холодные камни, бросавшие от себя одинаковые тонкие тени. А над кладбищем безмолвно и строго царствовала торжественная простота уединения.

Потом он видел себя на другом конце города. Может быть, это и в самом деле было во сне? Он стоял на середине длинной укатанной, блестящей плотины, широко пересекающей Буг. Сонная вода густо и лениво колыхалась под его ногами, мелодично хлюпая о землю, а месяц отражался в ее зыбкой поверхности дрожащим столбом, и казалось, что это миллионы серебряных рыбок плещутся на воде, уходя узкой дорожкой к дальнему берегу, темному, молчаливому и пустынному. И еще запомнил Ромашов, что повсюду — и на улицах и за городом — шел за ним сладкий, нежно-вкрадчивый аромат цветущей белой акации.

Странные мысли приходили ему в голову в эту ночь — одинокие мысли, то печальные, то жуткие, то мелочно, по-детски, смешные. Чаще же всего ему, точно неопытному игроку, проигравшему в один вечер все состояние, вдруг представлялось с соблазнительной ясностью, что вовсе ничего не было неприятного, что красивый подпоручик Ромашов отлично прошелся в церемониальном марше перед генералом, заслужил общие похвалы и что он сам теперь сидит вместе с товарищами в светлой столовой офицерского собрания и хохочет и пьет красное вино. Но каждый раз эти мечты обрывались воспоминаниями о брани Федоровского, о язвительных словах ротного командира, о разговоре с Николаевым, и Ромашов снова чувствовал себя непоправимо опозоренным и несчастным.

Тайный, внутренний инстинкт привел его на то место, где он разошелся сегодня с Николаевым. Ромашов в это время думал о самоубийстве, но думал без решимости и без страха, с каким-то скрытым, приятно-самолюбивым чувством. Обычная, неугомонная фантазия растворила весь ужас этой мысли, украсив и расцветив ее яркими картинами.

«Вот Гайнан выскочил из комнаты Ромашова. Лицо искажено испугом. Бледный, трясущийся, вбегает он в офицерскую столовую, которая полна народом. Все невольно подымаются с мест при его появлении. „Ваше высокоблагородие… подпоручик… застрелился!..“ — с трудом произносит Гайнан. Общее смятение. Лица бледнеют. В глазах отражается ужас. „Кто застрелился? Где? Какой подпоручик?“ — „Господа, да ведь это денщик Ромашова! — узнает кто-то Гайнана. — Это его черемис“. Все бегут на квартиру, некоторые без шапок. Ромашов лежит на кровати. Лужа крови на полу, и в ней валяется револьвер Смита и Вессона, казенного образца… Сквозь толпу офицеров, наполнявших маленькую комнату, с трудом пробирается полковой доктор Знойко. „В висок! — произносит он тихо среди общего молчания. — Все кончено“. Кто-то замечает вполголоса: „Господа, снимите же шапки!“ Многие крестятся. Веткин находит на столе записку, твердо написанную карандашом, и читает ее вслух: „Прощаю всех, умираю по доброй воле, жизнь так тяжела и печальна! Сообщите поосторожнее матери о моей смерти. Георгий Ромашов“. Все переглядываются, и все читают в глазах друг у друга одну и ту же беспокойную, невысказанную мысль: „Это *мы* его убийцы!“

Мерно покачивается гроб под золотым парчовым покровом на руках восьми товарищей. Все офицеры идут следом. Позади их — шестая рота. Капитан Слива сурово хмурится. Доброе лицо Веткина распухло от слез, но теперь, на улице, он сдерживает себя. Лбов плачет навзрыд, не скрывая и не стыдясь своего горя, — милый, добрый мальчик! Глубокими, скорбными рыданиями несутся в весеннем воздухе звуки похоронного марша. Тут же и все полковые дамы и Шурочка. „Я его целовала! — думает она с отчаянием. — Я его любила! Я могла бы его удержать, спасти!“ — „Слишком поздно!“ — думает в ответ ей с горькой улыбкой Ромашов.

Тихо разговаривают между собой офицеры, идущие за гробом: „Эх, как жаль беднягу! Ведь какой славный был товарищ, какой прекрасный, способный офицер!.. Да… не понимали мы его!“ Сильнее рыдает похоронный марш: это — музыка Бетховена „На смерть героя“. А Ромашов лежит в гробу, неподвижный, холодный, с вечной улыбкой на губах. На груди у него скромный букет фиалок, — никто не знает, чья рука положила эти цветы. Он всех простил: и Шурочку, и Сливу, и Федоровского, и корпусного командира. Пусть же не плачут о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой жизни! Ему будет лучше *там* !»

Слезы выступили на глаза, но Ромашов не вытирал их. Было так отрадно воображать себя оплакиваемым, несправедливо обиженным!

Он шел теперь вдоль свекловичного поля. Низкая толстая ботва пестрела путаными белыми и черными пятнами под ногами. Простор поля, освещенного луной, точно давил Ромашова. Подпоручик взобрался на небольшой земляной валик и остановился над железнодорожной выемкой.

Эта сторона была вся в черной тени, а на другую падал ярко-бледный свет, и казалось, на ней можно было рассмотреть каждую травку. Выемка уходила вниз, как темная пропасть; на дне ее слабо блестели отполированные рельсы. Далеко за выемкой белели среди поля правильные ряды остроконечных палаток.

Немного ниже гребня выемки, вдоль полотна, шел неширокий уступ. Ромашов спустился к нему и сел на траву. От голода и усталости он чувствовал тошноту вместе с ощущением дрожи и слабости в ногах. Большое пустынное поле, внизу выемка — наполовину в тени, наполовину в свете, смутно-прозрачный воздух, росистая трава, — все было погружено в чуткую, крадущуюся тишину, от которой гулко шумело в ушах. Лишь изредка на станции вскрикивали маневрирующие паровозы, и в молчании этой странной ночи их отрывистые свистки принимали живое, тревожное и угрожающее выражение.

Ромашов лег на спину. Белые, легкие облака стояли неподвижно, и над ними быстро катился круглый месяц. Пусто, громадно и холодно было наверху, и казалось, что все пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской. «Там — бог!» — подумал Ромашов, и вдруг, с наивным порывом скорби, обиды и жалости к самому себе, он заговорил страстным и горьким шепотом:

— Бог! Зачем ты отвернулся от меня? Я — маленький, я — слабый, я — песчинка, что я сделал тебе дурного, бог? Ты ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь, — зачем же ты несправедлив ко мне, бог?

Но ему стало страшно, и он зашептал поспешно и горячо:

— Нет, нет, добрый, милый, прости меня, прости меня! Я не стану больше.

— И он прибавил с кроткой, обезоруживающей покорностью: — Делай со мной все, что тебе угодно. Я всему повинуюсь с благодарностью.

Так он говорил, и в то же время у него в самых тайниках души шевелилась лукаво-невинная мысль, что его терпеливая покорность растрогает и смягчит всевидящего бога, и тогда вдруг случится чудо, от которого все сегодняшнее — тягостное и неприятное — окажется лишь дурным сном.

«Где ты ту-ут?» — сердито и торопливо закричал паровоз.

А другой подхватил низким тоном, протяжно и с угрозой:

«Я — ва-ас!»

Что-то зашуршало и мелькнуло на той стороне выемки, на самом верху освещенного откоса. Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось сверху вниз, едва выделяясь от травы в призрачно-мутном свете месяца. Только по движению тени да по легкому шороху осыпавшейся земли можно было уследить за ним.

Вот оно перешло через рельсы. «Кажется — солдат? — мелькнула у Ромашова беспокойная догадка. — Во всяком случае, это человек. Но так страшно идти может только лунатик или пьяный. Кто это?»

Серый человек пересек рельсы и вошел в тень. Теперь стало совсем ясно видно, что это солдат. Он медленно и неуклюже взбирался наверх, скрывшись на некоторое время из поля зрения Ромашова. Но прошло две-три минуты, и снизу начала медленно подыматься круглая стриженая голова без шапки.

Мутный свет прямо падал на лицо этого человека, и Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты — Хлебникова. Он шел с обнаженной головой, держа шапку в руке, со взглядом, безжизненно устремленным вперед. Казалось, он двигался под влиянием какой-то чужой, внутренней, таинственной силы. Он прошел так близко около офицера, что почти коснулся его полой своей шинели. В зрачках его глаз яркими, острыми точками отражался лунный свет.

— Хлебников! Ты? — окликнул его Ромашов.

— Ах! — вскрикнул солдат и вдруг, остановившись, весь затрепетал на одном месте от испуга.

Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал: «Вот этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу всему полку. Мы одинаково несчастны».

— Куда ты, голубчик? Что с тобой? — спросил ласково Ромашов и, сам не зная зачем, положил обе руки на плечи солдату.

Хлебников поглядел на него растерянным, диким взором, но тотчас же отвернулся. Губы его чмокнули, медленно раскрылись, и из них вырвалось короткое, бессмысленное хрипение. Тупое, раздражающее ощущение, похожее на то, которое предшествует обмороку, похожее на приторную щекотку, тягуче заныло в груди и в животе у Ромашова.

— Тебя били? Да? Ну, скажи же. Да? Сядь здесь, сядь со мною.

Он потянул Хлебникова за рукав вниз. Солдат, точно складной манекен, как-то нелепо-легко и послушно упал на мокрую траву, рядом с подпоручиком.

— Куда ты шел? — спросил Ромашов.

Хлебников молчал, сидя в неловкой позе с неестественно выпрямленными ногами. Ромашов видел, как его голова постепенно, едва заметными толчками опускалась на грудь. Опять послышался подпоручику короткий хриплый звук, и в душе у него шевельнулась жуткая жалость.

— Ты хотел убежать? Надень же шапку. Послушай, Хлебников, я теперь тебе не начальник, я сам — несчастный, одинокий, убитый человек. Тебе тяжело? Больно? Поговори же со мной откровенно. Может быть, ты хотел убить себя? — спрашивал Ромашов бессвязным шепотом.

Что-то щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова, но он продолжал молчать. В то же время Ромашов заметил, что солдат дрожит частой, мелкой дрожью: дрожала его голова, дрожали с тихим стуком челюсти. На секунду офицеру сделалось страшно. Эта бессонная лихорадочная ночь, чувство одиночества, ровный, матовый, неживой свет луны, чернеющая глубина выемки под ногами, и рядом с ним молчаливый, обезумевший от побоев солдат — все, все представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением, вроде тех снов, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Но вдруг прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустячным, чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебникова за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью:

— Хлебников, тебе плохо? И мне нехорошо, голубчик, мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Все — какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха! Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть… Это надо.

Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову. И солдат, цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь и корчась от подавляемых рыданий.

— Не могу больше… — лепетал Хлебников бессвязно, — не могу я, барин, больше… Ох, господи… Бьют, смеются… взводный денег просит, отделенный кричит… Где взять? Живот у меня надорванный… еще мальчонком надорвал… Кила у меня, барин… Ох, господи, господи!

Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступленно моталась у него на коленях. Он услышал запах грязного, нездорового тела и немытых волос и прокислый запах шинели, которой покрывались во время сна. Бесконечная скорбь, ужас, непонимание и глубокая, виноватая жалость переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили его. И, тихо склоняясь к стриженой, колючей, грязной голове, он прошептал чуть слышно:

— Брат мой!

Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному ребенку.

Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь. Пришлось вызывать дежурного по роте унтер-офицера Шаповаленко. Тот вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая себе то спину, то живот.

Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с дневальства. Шаповаленко пробовал было возражать:

— Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена!..

— Не разговаривать! — крикнул на него Ромашов. — Скажешь завтра ротному командиру, что я так приказал… Так ты придешь завтра ко мне? — спросил он Хлебникова, и тот молча ответил ему робким, благодарным взглядом.

Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться и прислушаться. Кто-то полузадушенным тягучим голосом рассказывал сказку:

— Во-от посылает той самый черт до того солдата самого свово главного вовшебника. Вот приходит той вовшебник и говорит: «Солдат, а солдат, я тебя зъем!» А солдат ему отвечает и говорит: «Ни, ты меня не можешь зъесть, так что я и сам вовшебник!»

Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумбурности, непонятности жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх, к небу. Там по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головою и потрясая ими, Ромашов закричал бешено:

— Ты! Старый обманщик! Если ты что-нибудь можешь и смеешь, то… ну вот: сделай так, чтобы я сейчас сломал себе ногу.

Он стремглав, закрывши глаза, бросился вниз с крутого откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и, не останавливаясь, одним духом взобрался наверх. Ноздри у него раздулись, грудь порывисто дышала. Но в душе у него вдруг вспыхнула гордая, дерзкая и злая отвага.

## XVIII

В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат, и, по странному расположению судьбы, повесился в то же самое число, в которое в прошлом году произошел в этой роте такой же случай. Когда его вскрывали, Ромашов был помощником дежурного по полку и поневоле вынужден был присутствовать при вскрытии. Солдат еще не успел разложиться. Ромашов слышал, как из его развороченного на куски тела шел густой запах сырого мяса, точно от туш, которые выставляют при входе в мясные лавки. Он видел его серые и синие ослизлые глянцевитые внутренности, видел содержимое его желудка, видел его мозг — серо-желтый, весь в извилинах, вздрагивавший на столе от шагов, как желе, перевернутое из формы. Все это было ново, страшно и противно и в то же время вселяло в него какое-то брезгливое неуважение к человеку.

Изредка, время от времени, в полку наступали дни какого-то общего, повального, безобразного кутежа. Может быть, это случалось в те странные моменты, когда люди, случайно между собой связанные, но все вместе осужденные на скучную бездеятельность и бессмысленную жестокость, вдруг прозревали в глазах друг у друга, там, далеко, в запутанном и угнетенном сознании, какую-то таинственную искру ужаса, тоски и безумия. И тогда спокойная, сытая, как у племенных быков, жизнь точно выбрасывалась из своего русла.

Так случилось и после этого самоубийства. Первым начал Осадчий. Как раз подошло несколько дней праздников подряд, и он в течение их вел в собрании отчаянную игру и страшно много пил. Странно: огромная воля этого большого, сильного и хищного, как зверь, человека увлекла за собой весь полк в какую-то вертящуюся книзу воронку, и во все время этого стихийного, припадочного кутежа Осадчий с цинизмом, с наглым вызовом, точно ища отпора и возражения, поносил скверными словами имя самоубийцы.

Было шесть часов вечера. Ромашов сидел с ногами на подоконнике и тихо насвистывал вальс из «Фауста». В саду кричали воробьи и стрекотали сороки. Вечер еще не наступил, но между деревьями уже бродили легкие задумчивые тени.

Вдруг у крыльца его дома чей-то голос запел громко, с воодушевлением, но фальшиво:

Бесятся кони, бренчат мундштуками,

Пенятся, рвутся, храпя-а-ат…

С грохотом распахнулись обе входные двери, и в комнату ввалился Веткин. С трудом удерживая равновесие, он продолжал петь:

Барыни, барышни взором отчаянным

Вслед уходящим глядят.

Он был пьян, тяжело, угарно, со вчерашнего. Веки глаз от бессонной ночи у него покраснели и набрякли. Шапка сидела на затылке. Усы, еще мокрые, потемнели и висели вниз двумя густыми сосульками, точно у моржа.

— Р-ромуальд! Анахорет сирийский, дай я тебя лобзну! — завопил он на всю комнату. — Ну, чего ты киснешь? Пойдем, брат. Там весело: играют, поют. Пойдем!

Он крепко и продолжительно поцеловал Ромашова в губы, смочив его лицо своими усами.

— Ну, будет, будет, Павел Павлович, — слабо сопротивлялся Ромашов, — к чему телячьи восторги?

— Друг, руку твою! Институтка. Люблю в тебе я прошлое страданье и юность улетевшую мою. Сейчас Осадчий такую вечную память вывел, что стекла задребезжали. Ромашевич, люблю я, братец, тебя! Дай я тебя поцелую, по-настоящему, по-русски, в самые губы!

Ромашову было противно опухшее лицо Веткина с остекленевшими глазами, был гадок запах, шедший из его рта, прикосновение его мокрых губ и усов. Но он был всегда в этих случаях беззащитен и теперь только деланно и вяло улыбался.

— Постой, зачем я к тебе пришел?.. — кричал Веткин, икая и пошатываясь.

— Что-то было важное… А, вот зачем. Ну, брат, и выставил же я Бобетинского. Понимаешь — все дотла, до копеечки. Дошло до того, что он просит играть на запись! Ну, уж я тут ему говорю: «Нет уж, батенька, это атанде-с, не хотите ли чего-нибудь помягче-с?» Тут он ставит револьвер. На-ка вот, Ромашенко, погляди. — Веткин вытащил из брюк, выворотив при этом карман наружу, маленький изящный револьвер в сером замшевом чехле. — Это, брат, системы Мервина. Я спрашиваю: «Во сколько ставишь?» — «Двадцать пять». — «Десять!» — «Пятнадцать». — «Ну, черт с тобой!» Поставил он рубль в цвет и в масть в круглую. Бац, бац, бац, бац! На пятом абцуге я его даму — чик! Здра-авствуйте, сто гусей! За ним еще что-то осталось. Великолепный револьвер и патроны к нему. На тебе, Ромашкевич. В знак памяти и дружбы нежной дарю тебе сей револьвер, и помни всегда прилежно, какой Веткин — храбрый офицер. На! Это стихи.

— Зачем это, Павел Павлович? Спрячьте.

— Что, ты думаешь, плохой револьвер? Слона можно убить. Постой, мы сейчас попробуем. Где у тебя помещается твой раб? Я пойду, спрошу у него какую-нибудь доску. Эй, р-р-раб! Оруженосец!

Колеблющимися шагами он вышел в сени, где обыкновенно помещался Гайнан, повозился там немного и через минуту вернулся, держа под правым локтем за голову бюст Пушкина.

— Будет, Павел Павлович, не стоит, — слабо останавливал его Ромашов.

— Э, чепуха! Какой-то шпак. Вот мы его сейчас поставим на табуретку. Стой смирно, каналья! — погрозил Веткин пальцем на бюст. — Слышишь? Я тебе задам!

Он отошел в сторону, прислонился к подоконнику рядом с Ромашовым и взвел курок. Но при этом он так нелепо, такими пьяными движениями размахивал револьвером в воздухе, что Ромашов только испуганно морщился и часто моргал глазами, ожидая нечаянного выстрела.

Расстояние было не более восьми шагов. Веткин долго целился, кружа дулом в разные стороны. Наконец он выстрелил, и на бюсте, на правой щеке, образовалась большая неправильная черная дыра. В ушах у Ромашова зазвенело от выстрела.

— Видал-миндал? — закричал Веткин. — Ну, так вот, на тебе, береги на память и помни мою любовь. А теперь надевай китель и айда в собрание. Дернем во славу русского оружия.

— Павел Павлович, право ж, не стоит, право же, лучше не нужно, — бессильно умолял его Ромашов.

Но он не сумел отказаться: не находил для этого ни решительных слов, ни крепких интонаций в голосе. И, мысленно браня себя за тряпичное безволие, он вяло поплелся за Веткиным, который нетвердо, зигзагами шагал вдоль огородных грядок, по огурцам и капусте.

Это был беспорядочный, шумный, угарный — поистине сумасшедший вечер. Сначала пили в собрании, потом поехали на вокзал пить глинтвейн, опять вернулись в собрание. Сначала Ромашов стеснялся, досадовал на самого себя за уступчивость и испытывал то нудное чувство брезгливости и неловкости, которое ощущает всякий свежий человек в обществе пьяных. Смех казался ему неестественным, остроты — плоскими, пение — фальшивым. Но красное горячее вино, выпитое им на вокзале, вдруг закружило его голову и наполнило ее шумным и каким-то судорожным весельем. Перед глазами стала серая завеса из миллионов дрожащих песчинок, и все сделалось удобно, смешно и понятно.

Час за часом пробегали, как секунды, и только потому, что в столовой зажгли лампы, Ромашов смутно понял, что прошло много времени и наступила ночь.

— Господа, поедемте к девочкам, — предложил кто-то. — Поедемте все к Шлейферше.

— К Шлейферше, к Шлейферше. Ура!

И все засуетились, загрохотали стульями, засмеялись. В этот вечер все делалось как-то само собой. У ворот собрания уже стояли пароконные фаэтоны, но никто не знал, откуда они взялись. В сознании Ромашова уже давно появились черные сонные провалы, чередовавшиеся с моментами особенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел себя сидящим в экипаже рядом с Веткиным. Впереди на скамейке помещался кто-то третий, но лицо его Ромашов никак не мог ночью рассмотреть, хотя и наклонялся к нему, бессильно мотаясь туловищем влево и вправо. Лицо это казалось темным и то суживалось в кулачок, то растягивалось в косом направлении и было удивительно знакомо. Ромашов вдруг засмеялся и сам точно со стороны услыхал свой тупой, деревянный смех.

— Врешь, Веткин, я знаю, брат, куда мы едем, — сказал он с пьяным лукавством. — Ты, брат, меня везешь к женщинам. Я, брат, знаю.

Их перегнал, оглушительно стуча по камням, другой экипаж. Быстро и сумбурно промелькнули в свете фонарей гнедые лошади, скакавшие нестройным карьером, кучер, неистово вертевший над головой кнутом, и четыре офицера, которые с криком и свистом качались на своих сиденьях.

Сознание на минуту с необыкновенной яркостью и точностью вернулось к Ромашову. Да, вот он едет в то место, где несколько женщин отдают кому угодно свое тело, свои ласки и великую тайну своей любви. За деньги? На минуту? Ах, не все ли равно! Женщины! Женщины! — кричал внутри Ромашова какой-то дикий и сладкий нетерпеливый голос. Примешивалась к нему, как отдаленный, чуть слышный звук, мысль о Шурочке, но в этом совпадении не было ничего низкого, оскорбительного, а, наоборот, было что-то отрадное, ожидаемое, волнующее, от чего тихо и приятно щекотало в сердце.

Вот он сейчас приедет к ним, еще не известным, еще ни разу не виданным, к этим странным, таинственным, пленительным существам — к женщинам! И сокровенная мечта сразу станет явью, и он будет смотреть на них, брать их за руки, слушать их нежный смех и пение, и это будет непонятным, но радостным утешением в той страстной жажде, с которой он стремится к одной женщине в мире, к ней, к Шурочке! Но в мыслях его не было никакой определенно чувственной цели, — его, отвергнутого одной женщиной, властно, стихийно тянуло в сферу этой неприкрытой, откровенной, упрощенной любви, как тянет в холодную ночь на огонь маяка усталых и иззябших перелетных птиц. И больше ничего.

Лошади повернули направо. Сразу прекратился стук колес и дребезжание гаек. Экипаж сильно и мягко заколебался на колеях и выбоинах, круто спускаясь под горку. Ромашов открыл глаза. Глубоко внизу под его ногами широко и в беспорядке разбросались маленькие огоньки. Они то ныряли за деревья и невидимые дома, то опять выскакивали наружу, и казалось, что там, по долине, бродит большая разбившаяся толпа, какая-то фантастическая процессия с фонарями в руках. На миг откуда-то пахнуло теплом и запахом полыни, большая темная ветка зашелестела по головам, и тотчас же потянуло сырым холодом, точно дыханием старого погреба.

— Куда мы едем? — спросил опять Ромашов.

— В Завалье! — крикнул сидевший впереди, и Ромашов с удивлением подумал: «Ах, да ведь это поручик Епифанов. Мы едем к Шлейферше».

— Неужели вы ни разу не были? — спросил Веткин.

— Убирайтесь вы оба к черту! — крикнул Ромашов.

Но Епифанов смеялся и говорил:

— Послушайте, Юрий Алексеич, хотите, мы шепнем, что вы в первый раз в жизни? А? Ну, миленький, ну, душечка. Они это любят. Что вам стоит?

Опять сознание Ромашова заволоклось плотным, непроницаемым мраком. Сразу, точно без малейшего перерыва, он увидел себя в большом зале с паркетным полом и с венскими стульями вдоль всех стен. Над входной дверью и над тремя другими дверьми, ведущими в темные каморки, висели длинные ситцевые портьеры, красные, в желтых букетах. Такие же занавески слабо надувались и колыхались над окнами, отворенными в черную тьму двора. На стенах горели дампы. Было светло, дымно и пахло острой еврейской кухней, но по временам из окон доносился свежий запах мокрой зелени, цветущей белой акации и весеннего воздуха.

Офицеров приехало около десяти. Казалось, что каждый из них одновременно и пел, и кричал, и смеялся. Ромашов, блаженно и наивно улыбаясь, бродил от одного к другому, узнавая, точно в первый раз, с удивлением и с удовольствием, Бек-Агамалова, Лбова, Веткина, Епифанова, Арчаковского, Олизара и других. Тут же был штабс-капитан Лещенко; он сидел у окна со своим всегдашним покорным и унылым видом. На столе, точно сами собой, как и все было в этот вечер, появились бутылки с пивом и с густой вишневой наливкой. Ромашов пил с кем-то, чокался и целовался, и чувствовал, что руки и губы у него стали липкими и сладкими.

Тут было пять или шесть женщин. Одна из них, по виду девочка лет четырнадцати, одетая пажом, с ногами в розовом трико, сидела на коленях у Бек-Агамалова и играла шнурами его аксельбантов. Другая, крупная блондинка, в красной шелковой кофте и темной юбке, с большим красным напудренным лицом и круглыми черными широкими бровями, подошла к Ромашову.

— Мужчина, что вы такой скучный? Пойдемте в комнату, — сказала она низким голосом.

Она боком, развязно села на стол, положив ногу на ногу. Ромашов увидел, как под платьем гладко определилась ее круглая и мощная ляжка. У него задрожали руки и стало холодно во рту. Он спросил робко:

— Как вас зовут?

— Меня? Мальвиной. — Она равнодушно отвернулась от офицера и заболтала ногами. — Угостите папиросочкой.

Откуда-то появились два музыканта-еврея: один — со скрипкой, другой — с бубном. Под докучный и фальшивый мотив польки, сопровождаемый глухими дребезжащими ударами, Олизар и Арчаковский стали плясать канкан. Они скакали друг перед другом то на одной, то на другой ноге, прищелкивая пальцами вытянутых рук, пятились назад, раскорячив согнутые колени и заложив большие пальцы под мышки, и с грубо-циничными жестами вихляли бедрами, безобразно наклоняя туловище то вперед, то назад. Вдруг Бек-Агамалов вскочил со стула и закричал резким, высоким, исступленным голосом:

— К черту шпаков! Сейчас же вон! Фить!

В дверях стояло двое штатских — их знали все офицеры в полку, так как они бывали на вечерах в собрании; один — чиновник казначейства, а другой — брат судебного пристава, мелкий помещик, — оба очень приличные молодые люди.

У чиновника была на лице бледная насильственная улыбка, и он говорил искательным тоном, но стараясь держать себя развязно:

— Позвольте, господа… разделить компанию. Вы же меня знаете, господа… Я же Дубецкий, господа… Мы, господа, вам не помешаем.

— В тесноте, да не в обиде, — сказал брат судебного пристава и захохотал напряженно.

— Во-он! — закричал Бек-Агамалов. — Марш!

— Господа, выставляйте шпаков! — захохотал Арчаковский.

Поднялась суматоха. Все в комнате завертелось клубком, застонало, засмеялось, затопало. Запрыгали вверх, коптя, огненные язычки ламп. Прохладный ночной воздух ворвался из окон и трепетно дохнул на лица. Голоса штатских, уже на дворе, кричали с бессильным и злым испугом, жалобно, громко и слезливо:

— Я этого так тебе не оставлю! Мы командиру полка будем жаловаться. Я губернатору напишу. Опричники!

— У-лю-лю-лю-лю! Ату их! — вопил тонким фальцетом. Веткин, высунувшись из окна.

Ромашову казалось, что все сегодняшние происшествия следуют одно за другим без перерыва и без всякой связи, точно перед ним разматывалась крикливая и пестрая лента с уродливыми, нелепыми, кошмарными картинами. Опять однообразно завизжала скрипка, загудел и задрожал бубен. Кто-то, без мундира, в одной белой рубашке, плясал вприсядку посредине комнаты, ежеминутно падая назад и упираясь рукой в пол. Худенькая красивая женщина — ее раньше Ромашов не заметил — с распущенными черными волосами и с торчащими ключицами на открытой шее обнимала голыми руками печального Лещенку за шею и, стараясь перекричать музыку и гомон, визгливо пела ему в самое ухо:

Когда заболеешь чахоткой навсегда,

Станешь бледный, как эта стена, —

Кругом тебя доктора.

Бобетинский плескал пивом из стакана через перегородку в одну из темных отдельных каморок, а оттуда недовольный, густой заспанный голос говорил ворчливо:

— Да, господа… да будет же. Кто это там? Что за свинство!

— Послушайте, давно ли вы здесь? — спросил Ромашов женщину в красной кофте и воровато, как будто незаметно для себя, положил ладонь на ее крепкую теплую ногу.

Она что-то ответила, чего он не расслышал. Его внимание привлекла дикая сцена. Подпрапорщик Лбов гонялся по комнате за одним из музыкантов и изо всей силы колотил его бубном по голове. Еврей кричал быстро и непонятно и, озираясь назад с испугом, метался из угла в угол, подбирая длинные фалды сюртука. Все смеялись. Арчаковский от хохота упал на пол и со слезами на глазах катался во все стороны. Потом послышался пронзительный вопль другого музыканта. Кто-то выхватил у него из рук скрипку и со страшной силой ударил ее об землю. Дека ее разбилась вдребезги, с певучим треском, который странно слился с отчаянным криком еврея. Потом для Ромашова настало несколько минут темного забвения. И вдруг опять он увидел, точно в горячечном сне, что все, кто были в комнате, сразу закричали, забегали, замахали руками. Вокруг Бек-Агамалова быстро и тесно сомкнулись люди, но тотчас же они широко раздались, разбежались по всей комнате.

— Все вон отсюда! Никого не хочу! — бешено кричал Бек-Агамалов.

Он скрежетал, потрясал пред собой кулаками и топал ногами. Лицо у него сделалось малиновым, на лбу вздулись, как шнурки, две жилы, сходящиеся к носу, голова была низко и грозно опущена, а в выкатившихся глазах страшно сверкали обнажившиеся круглые белки.

Он точно потерял человеческие слова и ревел, как взбесившийся зверь, ужасным вибрирующим голосом:

— А-а-а-а!

Вдруг он, быстро и неожиданно ловко изогнувшись телом влево, выхватил из ножен шашку. Она лязгнула и с резким свистом сверкнула у него над головой. И сразу все, кто были в комнате, ринулись к окнам и к дверям. Женщины истерически визжали. Мужчины отталкивали друг друга. Ромашова стремительно увлекли к дверям, и кто-то, протесняясь мимо него, больно, до крови, черкнул его концом погона или пуговицей по щеке. И тотчас же на дворе закричали, перебивая друг друга, взволнованные, торопливые голоса. Ромашов остался один в дверях. Сердце у него часто и крепко билось, но вместе с ужасом он испытывал какое-то сладкое, буйное и веселое предчувствие.

— Зарублю-у-у-у! — кричал Бек-Агамалов, скрипя зубами.

Вид общего страха совсем опьянил его. Он с припадочной силой в несколько ударов расщепил стол, потом яростно хватил шашкой по зеркалу, и осколки от него сверкающим радужным дождем брызнули во все стороны. С другого стола он одним ударом сбил все стоявшие на нем бутылки и стаканы.

Но вдруг раздался чей-то пронзительный, неестественно-наглый крик:

— Дурак! Хам!

Это кричала та самая простоволосая женщина с голыми руками, которая только что обнимала Лещенку. Ромашов раньше не видел ее. Она стояла в нише за печкой и, упираясь кулаками в бедра, вся наклоняясь вперед, кричала без перерыва криком обсчитанной рыночной торговки:

— Дурак! Хам! Холуй! И никто тебя не боится! Дурак, дурак, дурак, дурак!..

Бек-Агамалов нахмурил брови и, точно растерявшись, опустил вниз шашку. Ромашов видел, как постепенно бледнело его лицо и как в глазах его разгорался зловещий желтый блеск. И в то же время он все ниже и ниже сгибал ноги, весь съеживался и вбирал в себя шею, как зверь, готовый сделать прыжок.

— Замолчи! — бросил он хрипло, точно выплюнул.

— Дурак! Болван! Армяшка! Не замолчу! Дурак! Дурак! — выкрикивала женщина, содрогаясь всем телом при каждом крике.

Ромашов знал, что и сам он бледнеет с каждым мгновением. В голове у него сделалось знакомое чувство невесомости, пустоты и свободы. Странная смесь ужаса и веселья подняла вдруг его душу кверху, точно легкую пьяную пену. Он увидел, что Бек-Агамалов, не сводя глаз с женщины, медленно поднимает над головой шашку. И вдруг пламенный поток безумного восторга, ужаса, физического холода, смеха и отваги нахлынул на Ромашова. Бросаясь вперед, он еще успел расслышать, как Бек-Агамалов прохрипел яростно:

— Ты не замолчишь? Я тебя в последний…

Ромашов крепко, с силой, которой он сам от себя не ожидал, схватил Бек-Агамалова за кисть руки. В течение нескольких секунд оба офицера, не моргая, пристально глядели друг на друга, на расстоянии пяти или шести вершков. Ромашов слышал частое, фыркающее, как у лошади, дыхание Бек-Агамалова, видел его страшные белки и остро блестящие зрачки глаз и белые, скрипящие движущиеся челюсти, но он уже чувствовал, что безумный огонь с каждым мгновением потухает в этом искаженном лице. И было ему жутко и невыразимо радостно стоять так, между жизнью и смертью, и уже знать, что он выходит победителем в этой игре. Должно быть, все те, кто наблюдали эту сцену извне, поняли ее опасное значение. На дворе за окнами стало тихо, — так тихо, что где-то в двух шагах, в темноте, соловей вдруг залился громкой, беззаботной трелью.

— Пусти! — хрипло выдавил из себя Бек-Агамалов.

— Бек, ты не ударишь женщину, — сказал Ромашов спокойно. — Бек, тебе будет на всю жизнь стыдно. Ты не ударишь.

Последние искры безумия угасли в глазах Бек-Агамалова. Ромашов быстро замигал веками и глубоко вздохнул, точно после обморока. Сердце его забилось быстро и беспорядочно, как во время испуга, а голова опять сделалась тяжелой и теплой.

— Пусти! — еще раз крикнул Бек-Агамалов с ненавистью и рванул руку.

Теперь Ромашов чувствовал, что он уже не в силах сопротивляться ему, но он уже не боялся его и говорил жалостливо и ласково, притрагиваясь чуть слышно к плечу товарища:

— Простите меня… Но ведь вы сами потом скажете мне спасибо.

Бек-Агамалов резко со стуком вбросил шашку в ножны.

— Ладно! К черту! — крикнул он сердито, но уже с долей притворства и смущения. — Мы с вами еще разделаемся. Вы не имеете права!..

Все глядевшие на эту сцену со двора поняли, что самое страшное пронеслось. С преувеличенным, напряженным хохотом толпой ввалились они в двери. Теперь все они принялись с фамильярной и дружеской развязностью успокаивать и уговаривать Бек-Агамалова. Но он уже погас, обессилел, и его сразу потемневшее лицо имело усталое и брезгливое выражение.

Прибежала Шлейферша, толстая дама с засаленными грудями, с жестким выражением глаз, окруженных темными мешками, без ресниц. Она кидалась то к одному, то к другому офицеру, трогала их за рукава и за пуговицы и кричала плачевно:

— Ну, господа, ну, кто мне заплатит за все: за зеркало, за стол, за напитки и за девочек?

И опять кто-то неведомый остался объясняться с ней. Прочие офицеры вышли гурьбой наружу. Чистый, нежный воздух майской ночи легко и приятно вторгся в грудь Ромашова и наполнил все его тело свежим, радостным трепетом. Ему казалось, что следы сегодняшнего пьянства сразу стерлись в его мозгу, точно от прикосновения мокрой губки.

К нему подошел Бек-Агамалов и взял его под руку.

— Ромашов, садитесь со мной, — предложил он, — хорошо?

И когда они уже сидели рядом и Ромашов, наклоняясь вправо, глядел, как лошади нестройным галопом, вскидывая широкими задами, вывозили экипаж на гору, Бек-Агамалов ощупью нашел его руку и крепко, больно и долго сжал ее. Больше между ними ничего не было сказано.

## XX

В тот же день — это было в среду — Ромашов получил короткую официальную записку:

«Суд общества офицеров N-ского пехотного полка приглашает подпоручика Ромашова явиться к шести часам в зал офицерского собрания. Форма одежды обыкновенная.

Председатель суда подполковник Мигунов ».

Ромашов не мог удержаться от невольной грустной улыбки: эта «форма одежды обыкновенная» — мундир с погонами и цветным кушаком — надевается именно в самых необыкновенных случаях: «на суде, при публичных выговорах и во время всяких неприятных явок по начальству».

К шести часам он пришел в собрание и приказал вестовому доложить о себе председателю суда. Его попросили подождать. Он сел в столовой у открытого окна, взял газету и стал читать ее, не понимая слов, без всякого интереса, механически пробегая глазами буквы. Трое офицеров, бывших в столовой, поздоровались с ним сухо и заговорили между собой вполголоса, так, чтоб он не слышал. Только один подпоручик Михин долго и крепко, с мокрыми глазами, жал ему руку, но ничего не сказал, покраснел, торопливо и неловко оделся и ушел.

Вскоре в столовую через буфет вышел Николаев. Он был бледен, веки его глаз потемнели, левая щека все время судорожно дергалась, а над вей ниже виска синело большое пухлое пятно. Ромашов ярко и мучительно вспомнил вчерашнюю драку и, весь сгорбившись, сморщив лицо, чувствуя себя расплюснутым невыносимой тяжестью этих позорных воспоминаний, спрятался за газету и даже плотно зажмурил глаза.

Он слышал, как Николаев спросил в буфете рюмку коньяку и как он прощался с кем-то. Потом почувствовал мимо себя шаги Николаева. Хлопнула на блоке дверь. И вдруг через несколько секунд он услышал со двора за своей спиной осторожный шепот:

— Не оглядывайтесь назад! Сидите спокойно. Слушайте.

Это говорил Николаев. Газета задрожала в руках Ромашова.

— Я, собственно, не имею права разговаривать с вами. Но к черту эти французские тонкости. Что случилось, того не поправишь. Но я вас все-таки считаю человеком порядочным. Прошу вас, слышите ли, я прошу вас: ни слова о жене и об анонимных письмах. Вы меня поняли?

Ромашов, закрываясь газетой от товарищей, медленно наклонил голову. Песок захрустел на дворе под ногами. Только спустя пять минут Ромашов обернулся и поглядел на двор. Николаева уже не было.

— Ваше благородие, — вырос вдруг перед ним вестовой, — их высокоблагородие просят вас пожаловать.

В зале, вдоль дальней узкой стены, были составлены несколько ломберных столов и покрыты зеленым сукном. За ними помещались судьи, спинами к окнам; от этого их лица были темными. Посредине в кресле сидел председатель — подполковник Мигунов, толстый, надменный человек, без шеи, с поднятыми вверх круглыми плечами; по бокам от него — подполковники: Рафальский и Лех, дальше с правой стороны — капитаны Осадчий и Петерсон, а с левой — капитан Дювернуа и штабс-капитан Дорошенко, полковой казначей. Стол был совершенно пуст, только перед Дорошенкой, делопроизводителем суда, лежала стопочка бумаги. В большой пустой зале было прохладно и темновато, несмотря на то, что на дворе стоял жаркий, сияющий день. Пахло старым деревом, плесенью и ветхой мебельной обивкой.

Председатель положил обе большие белые, полные руки ладонями вверх на сукно стола и, разглядывая их поочередно, начал деревянным тоном:

— Подпоручик Ромашов, суд общества офицеров, собравшийся по распоряжению командира полка, должен выяснить обстоятельства того печального и недопустимого в офицерском обществе столкновения, которое имело место вчера между вами и поручиком Николаевым. Прошу вас рассказать об этом со всевозможными подробностями.

Ромашов стоял перед нами, опустив руки вниз и теребя околыш шапки. Он чувствовал себя таким затравленным, неловким и растерянным, как бывало с ним только в ученические годы на экзаменах, когда он проваливался. Обрывающимся голосом, запутанными и несвязными фразами, постоянно мыча и прибавляя нелепые междометия, он стал давать показание. В то же время, переводя глаза с одного из судей на другого, он мысленно оценивал их отношения к нему: «Мигунов — равнодушен, он точно каменный, но ему льстит непривычная роль главного судьи и та страшная власть и ответственность, которые сопряжены с нею. Подполковник Врем глядит жалостными и какими-то женскими глазами, — ах, мой милый Брем, помнишь ли ты, как я брал у тебя десять рублей взаймы? Старый Лех серьезничает. Он сегодня трезв, и у него под глазами мешки, точно глубокие шрамы. Он не враг мне, но он сам так много набезобразничал в собрании в разные времена, что теперь ему будет выгодна роль сурового и непреклонного ревнителя офицерской чести. А Осадчий и Петерсон — это уже настоящие враги. По закону я, конечно, мог бы отвести Осадчего — вся ссора началась из-за его панихиды, — а впрочем, не все ли равно? Петерсон чуть-чуть улыбается одним углом рта — что-то скверное, низменное, змеиное в улыбке. Неужели он знал об анонимных письмах? У Дювернуа — сонное лицо, а глаза — как большие мутные шары. Дювернуа меня не любит. Да и Дорошенко тоже. Подпоручик, который только расписывается в получении жалованья и никогда не получает его. Плохи ваши дела, дорогой мой Юрий Алексеевич».

— Виноват, на минутку, — вдруг прервал его Осадчий. — Господин подполковник, вы позволите мне предложить вопрос?

— Пожалуйста, — важно кивнул головой Мигунов.

— Скажите нам, подпоручик Ромашов, — начал Осадчий веско, с растяжкой, — где вы изволили быть до того, как приехали в собрание в таком невозможном виде?

Ромашов покраснел и почувствовал, как его лоб сразу покрылся частыми каплями пота.

— Я был… я был… ну, в одном месте, — и он добавил почти шепотом, — был в публичном доме.

— Ага, вы были в публичном доме? — нарочно громко, с жестокой четкостью подхватил Осадчий. — И, вероятно, вы что-нибудь пили в этом учреждении?

— Д-да, пил, — отрывисто ответил Ромашов.

— Так-с. Больше вопросов не имею, — повернулся Осадчий к председателю.

— Прошу продолжать показание, — сказал Мигунов. — Итак, вы остановились на том, что плеснули пивом в лицо поручику Николаеву… Дальше?

Ромашов несвязно, но искренно и подробно рассказал о вчерашней истории. Он уже начал было угловато и стыдливо говорить о том раскаянии, которое он испытывает за свое вчерашнее поведение, но его прервал капитан Петерсон. Потирая, точно при умывании, свои желтые костлявые руки с длинными мертвыми пальцами и синими ногтями, он сказал усиленно-вежливо, почти ласково, тонким и вкрадчивым голосом:

— Ну да, все это, конечно, так и делает честь вашим прекрасным чувствам. Но скажите нам, подпоручик Ромашов… вы до этой злополучной и прискорбной истории не бывали в доме поручика Николаева?

Ромашов насторожился и, глядя не на Петерсона, а на председателя, ответил грубовато:

— Да, бывал, но я не понимаю, какое это отношение имеет к делу.

— Подождите. Прошу отвечать только на вопросы, — остановил его Петерсон. — Я хочу сказать, не было ли у вас с поручиком Николаевым каких-нибудь особенных поводов ко взаимной вражде, — поводов характера не служебного, а домашнего, так сказать, семейного?

Ромашов выпрямился и прямо, с открытой ненавистью посмотрел в темные чахоточные глаза Петерсона.

— Я бывал у Николаевых не чаще, чем у других моих знакомых, — сказал он громко и резко. — И с ним прежде у меня никакой вражды не было. Все произошло случайно и неожиданно, потому что мы оба были нетрезвы.

— Хе-хе-хе, это уже мы слыхали, о вашей нетрезвости, — опять прервал его Петерсон, — по я хочу только спросить, не было ли у вас с ним раньше этакого какого-нибудь столкновения? Нет, не ссоры, поймите вы меня, а просто этакого недоразумения, натянутости, что ли, на какой-нибудь частной почве. Ну, скажем, несогласие в убеждениях или там какая-нибудь интрижка. А?

— Господин председатель, могу я не отвечать на некоторые из предлагаемых мне вопросов? — спросил вдруг Ромашов.

— Да, это вы можете, — ответил холодно Мигунов. — Вы можете, если хотите, вовсе не давать показаний или давать их письменно. Это ваше право.

— В таком случае заявляю, что ни на один из вопросов капитана Петерсона я отвечать не буду, — сказал Ромашов. — Это будет лучше для него и для меня.

Его спросили еще о нескольких незначительных подробностях, и затем председатель объявил ему, что он свободен. Однако его еще два раза вызывали для дачи дополнительных показаний, один раз в тот же день вечером, другой раз в четверг утром. Даже такой неопытный в практическом отношении человек, как Ромашов, понимал, что суд ведет дело халатно, неумело и донельзя небрежно, допуская множество ошибок и бестактностей. И самым большим промахом было то, что, вопреки точному и ясному смыслу статьи 149 дисциплинарного устава, строго воспрещающей разглашение происходящего на суде, члены суда чести не воздержались от праздной болтовни. Они рассказали о результатах заседаний своим женам, жены — знакомым городским дамам, а те — портнихам, акушеркам и даже прислуге. За одни сутки Ромашов сделался сказкой города и героем дня. Когда он проходил по улице, на него глядели из окон, из калиток, из палисадников, из щелей в заборах. Женщины издали показывали на него пальцами, и он постоянно слышал у себя за спиной свою фамилию, произносимую быстрым шепотом. Никто в городе не сомневался, что между ним и Николаевым произойдет дуэль. Держали даже пари об ее исходе.

Утром в четверг, идя в собрание мимо дома Лыкачевых, он вдруг услышал, что кто-то зовет его по имени.

— Юрий Алексеевич, Юрий Алексеевич, подите сюда!

Он остановился и поднял голову кверху. Катя Лыкачева стояла по ту сторону забора на садовой скамеечке. Она была в утреннем легком японском халатике, треугольный вырез которого оставлял голою ее тоненькую прелестную девичью шею. И вся она была такая розовая, свежая, вкусная, что Ромашову на минуту стало весело.

Она перегнулась через забор, чтобы подать ему руку, еще холодную и влажную от умыванья. И в то же время она тараторила картаво:

— Отчего у нас не бываете? Стыдно дьюзей забывать. Зьой, зьой, зьой… Т-ссс, я все, я все, все знаю! — Она вдруг сделала большие испуганные глаза. — Возьмите себе вот это и наденьте на шею, непьеменно, непьеменно наденьте.

Она вынула из-за своего керимона, прямо с груди, какую-то ладанку из синего шелка на шнуре и торопливо сунула ему в руку. Ладанка была еще теплая от ее тела.

— Помогает? — спросил Ромашов шутливо. — Что это такое?

— Это тайна, не смейте смеяться. Безбожник! Зьой.

«Однако я нынче в моде. Славная девочка», — подумал Ромашов, простившись с Катей. Но он не мог удержаться, чтобы и здесь в последний раз не подумать о себе в третьем лице красивой фразой:

«Добродушная улыбка скользнула по суровому лицу старого бретера».

Вечером в этот день его опять вызвали в суд, но уже вместе с Николаевым. Оба врага стояли перед столом почти рядом. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждый из них чувствовал на расстоянии настроение другого и напряженно волновался этим. Оба они упорно и неподвижно смотрели на председателя, когда он читал им решение суда:

— «Суд общества офицеров N-ского пехотного полка, в составе — следовали чины и фамилии судей — под председательством подполковника Мигунова, рассмотрев дело о столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и подпоручика Ромашова, нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений ссора этих обер-офицеров не может быть окончена примирением и что поединок между ними является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утверждено командиром полка».

Окончив чтение, подполковник Мигунов снял очки и спрятал их в футляр.

— Вам остается, господа, — сказал он с каменной торжественностью, — выбрать себе секундантов, по два с каждой стороны, и прислать их к девяти часам вечера сюда, в собрание, где они совместно с нами выработают условия поединка. Впрочем, — прибавил он, вставая и пряча очечник в задний карман, — впрочем, прочитанное сейчас постановление суда не имеет для вас обязательной силы. За каждым из вас сохраняется полная свобода драться на дуэли, или… — он развел руками и сделал паузу, — или оставить службу. Затем… вы свободны, господа… Еще два слова. Уж не как председатель суда, а как старший товарищ, советовал бы вам, господа офицеры, воздержаться до поединка от посещения собрания. Это может повести к осложнениям. До свиданья.

Николаев круто повернулся и быстрыми шагами вышел из залы. Медленно двинулся за ним и Ромашов. Ему не было страшно, но он вдруг почувствовал себя исключительно одиноким, странно обособленным, точно отрезанным от всего мира. Выйдя на крыльцо собрания, он с долгим, спокойным удивлением глядел на небо, на деревья, на корову у забора напротив, на воробьев, купавшихся в пыли среди дороги, и думал: «Вот — все живет, хлопочет, суетится, растет и сияет, а мне уже больше ничто не нужно и не интересно. Я приговорен. Я один».

Вяло, почти со скукой пошел он разыскивать Бек-Агамалова и Веткина, которых он решил просить в секунданты. Оба охотно согласились — Бек-Агамалов с мрачной сдержанностью, Веткин с ласковыми и многозначительными рукопожатиями.

Идти домой Ромашову не хотелось — там было жутко и скучно. В эти тяжелые минуты душевного бессилия, одиночества и вялого непонимания жизни ему нужно было видеть близкого, участливого друга и в то же время тонкого, понимающего, нежного сердцем человека.

И вдруг он вспомнил о Назанском.

## XXII

Подходя к своему дому, Ромашов с удивлением увидел, что в маленьком окне его комнаты, среди теплого мрака летней ночи, брезжит чуть заметный свет. «Что это значит? — подумал он тревожно и невольно ускорил шаги. — Может быть, это вернулись мои секунданты с условиями дуэли?» В сенях он натолкнулся на Гайнана, не заметил его, испугался, вздрогнул и воскликнул сердито:

— Что за черт! Это ты, Гайнан? Кто тут?

Несмотря на темноту, он почувствовал, что Гайнан, по своей привычке, заплясал на одном месте.

— Там тебе барина пришла. Сидит.

Ромашов отворил дверь. В лампе давно уже вышел весь керосин, и теперь она, потрескивая, догорала последними чадными вспышками. На кровати сидела неподвижная женская фигура, неясно выделяясь в тяжелом вздрагивающем полумраке.

— Шурочка! — задыхаясь, сказал Ромашов и почему-то на цыпочках осторожно подошел к кровати. — Шурочка, это вы?

— Тише. Садитесь, — ответила она быстрым шепотом. — Потушите лампу.

Он дунул сверху в стекло. Пугливый синий огонек умер, и сразу в комнате стало темно и тихо, и тотчас же торопливо и громко застучал на столе не замечаемый до сих пор будильник. Ромашов сел рядом с Александрой Петровной, сгорбившись и не глядя в ее сторону. Странное чувство боязни, волнения и какого-то замирания в сердце овладело им и мешало ему говорить.

— Кто у вас рядом, за стеной? — спросила Шурочка. — Там слышно?

— Нет, там пустая комната… старая мебель… хозяин — столяр. Можно говорить громко.

До все-таки оба они продолжали говорить шепотом, и в этих тихих, отрывистых словах, среди тяжелого, густого мрака, было много боязливого, смущенного и тайно крадущегося. Они сидели, почти касаясь друг друга. У Ромашова глухими толчками шумела в ушах кровь.

— Зачем, зачем вы это сделали? — вдруг сказала она тихо, но со страстным упреком.

Она положила ему на колено свою руку. Ромашов сквозь одежду почувствовал ее живую, нервную теплоту и, глубоко передохнув, зажмурил глаза. И от этого не стало темнее, только перед глазами всплыли похожие на сказочные озера черные овалы, окруженные голубым сиянием.

— Помните, я просила вас быть с ним сдержанным. Нет, нет, я не упрекаю. Вы не нарочно искали ссоры — я знаю это. Но неужели в то время, когда в вас проснулся дикий зверь, вы не могли хотя бы на минуту вспомнить обо мне и остановиться. Вы никогда не любили меня!

— Я люблю вас, — тихо произнес Ромашов и слегка прикоснулся робкими, вздрагивающими пальцами к ее руке.

Шурочка отняла ее, но не сразу, потихоньку, точно жалея и боясь его обидеть.

— Да, я знаю, что ни вы, ни он не назвали моего имени, но ваше рыцарство пропало понапрасну: все равно по городу катится сплетня.

— Простите меня, я не владел собой… Меня ослепила ревность, — с трудом произнес Ромашов.

Она засмеялась долгим и злым смешком.

— Ревность? Неужели вы думаете, что мой муж был так великодушен после вашей драки, что удержался от удовольствия рассказать мне, откуда вы приехали тогда в собрание? Он и про Назанского мне сказал.

— Простите, — повторял Ромашов. — Я там ничего дурного не делал. Простите.

Она вдруг заговорила громче, решительным и суровым шепотом:

— Слушайте, Георгий Алексеевич, мне дорога каждая минута. Я и то ждала вас около часа. Поэтому будем говорить коротко и только о деле. Вы знаете, что такое для меня Володя. Я его не люблю, но я на него убила часть своей души. У меня больше самолюбия, чем у него. Два раза он проваливался, держа экзамен в академию. Это причиняло мне гораздо больше обиды и огорчения, чем ему. Вся эта мысль о генеральном штабе принадлежит мне одной, целиком мне. Я тянула мужа изо всех сил, подхлестывала его, зубрила вместе с ним, репетировала, взвинчивала его гордость, ободряла его в минуту уныния. Это — мое собственное, любимое, больное дело. Я не могу оторвать от этой мысли своего сердца. Что бы там ни было, но он поступит в академию.

Ромашов сидел, низко склонившись головой на ладонь. Он вдруг почувствовал, что Шурочка тихо и медленно провела рукой по его волосам. Он спросил с горестным недоумением:

— Что же я могу сделать?

Она обняла его за шею и нежно привлекла его голову к себе на грудь. Она была без корсета. Ромашов почувствовал щекой податливую упругость ее тела и слышал его теплый, пряный, сладострастный запах. Когда она говорила, он ощущал прерывистое дыхание на своих волосах.

— Ты помнишь, тогда… вечером… на пикнике. Я тебе сказала всю правду. Я не люблю его. Но подумай: три года, целых три года надежд, фантазий, планов и такой упорной, противной работы! Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи это мещанское, нищенское офицерское общество. Я хочу быть всегда прекрасно одетой, красивой, изящной, я хочу поклонения, власти! И вдруг — нелепая, пьяная драка, офицерский скандал — и все кончено, все разлетелось в прах! О, как это ужасно! Я никогда не была матерью, но я воображаю себе: вот у меня растет ребенок — любимый, лелеемый, в нем все надежды, в него вложены заботы, слезы, бессонные ночи… и вдруг — нелепость, случай, дикий, стихийный случай: он играет на окне, нянька отвернулась, он падает вниз, на камни. Милый, только с этим материнским отчаянием я могу сравнить свое горе и злобу. Но я не виню тебя.

Ромашову было неудобно сидеть перегнувшись и боясь сделать ей тяжело. Но он рад был бы сидеть так целые часы и слышать в каком-то странном, душном опьянении частые и точные биения ее маленького сердца.

— Ты слушаешь меня? — спросила она, нагибаясь к нему.

— Да, да… Говори… Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь.

— Нет, нет. Выслушай меня до конца. Если ты его убьешь или если его отставят от экзамена — кончено! Я в тот же день, когда узнаю об этом, бросаю его и еду — все равно куда — в Петербург, в Одессу, в Киев. Не думай, это не фальшивая фраза из газетного романа. Я не хочу пугать тебя такими дешевыми эффектами. Но я знаю, что я молода, умна, образованна. Не красива. Но я сумею быть интереснее многих красавиц, которые на публичных балах получают в виде премии за красоту мельхиоровый поднос или будильник с музыкой. Я надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как фейерверк!

Ромашов глядел в окно. Теперь его глаза, привыкшие к темноте, различали неясный, чуть видный переплет рамы.

— Не-говори так… не надо… мне больно, — произнес он печально. — Ну, хочешь, я завтра откажусь от поединка, извинюсь перед ним? Сделать это?

Она помолчала немного. Будильник наполнял своей металлической болтовней все углы темной комнаты. Наконец она произнесла еле слышно, точно в раздумье, с выражением, которого Ромашов не мог уловить:

— Я так и знала, что ты это предложишь.

Он поднял голову и, хотя она удерживала его за шею рукой, выпрямился на кровати.

— Я не боюсь! — сказал он громко и глухо.

— Нет, нет, нет, нет, — говорила она горячим, поспешным, умоляющим шепотом. — Ты меня не понял. Иди ко мне ближе… как раньше… Иди же!..

Она обняла его обеими руками и зашептала, щекоча его лицо своими тонкими волосами и горячо дыша ему в щеку:

— Ты меня не понял. У меня совсем другое. Но мне стыдно перед тобой. Ты такой чистый, добрый, и я стесняюсь говорить тебе об этом. Я расчетливая, я гадкая…

— Нет, говори все. Я тебя люблю.

— Послушай, — заговорила она, и он скорее угадывал ее слова, чем слышал их. — Если ты откажешься, то ведь сколько обид, позора и страданий падет на тебя. Нет, нет, опять не то. Ах, боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. Дорогой мой, я ведь все это давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но, пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то… как бы сказать?.. Ну, что ли, сомнительное, что-то возбуждающее недоумение и разочарование… Понимаешь ли ты меня? — спросила она с грустной нежностью и осторожно поцеловала его в волосы.

— Да. Так что же?

— То, что в этом случае мужа почти наверно не допустят к экзаменам. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки. Между тем если бы вы на самом деле стрелялись, то тут было бы нечто героическое, сильное. Людям, которые умеют держать себя с достоинством под выстрелом, многое, очень многое прощают. Потом… после дуэли… ты мог бы, если хочешь, и извиниться… Ну, это уж твое дело.

Тесно обнявшись, они шептались, как заговорщики, касаясь лицами и руками друг друга, слыша дыхание друг друга. Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо проползало что-то тайное, гадкое, склизкое, от чего пахнуло холодом на его душу. Он опять хотел высвободиться из ее рук, но она его не пускала. Стараясь скрыть непонятное, глухое раздражение, он сказал сухо:

— Ради бога, объяснись прямее. Я все тебе обещаю.

Тогда она повелительно заговорила около самого его рта, и слова ее были как быстрые трепетные поцелуи:

— Вы непременно должны завтра стреляться. Но ни один из вас не будет ранен. О, пойми же меня, не осуждай меня! Я сама презираю трусов, я женщина. Но ради меня сделай это, Георгий! Нет, не спрашивай о муже, он знает. Я все, все, все сделала.

Теперь ему удалось упрямым движением головы освободиться от ее мягких и сильных рук. Он встал с кровати и сказал твердо:

— Хорошо, пусть будет так. Я согласен.

Она тоже встала. В темноте по ее движениям он не видел, а угадывал, чувствовал, что она торопливо поправляет волосы на голове.

— Ты уходишь? — спросил Ромашов.

— Прощай, — ответила она слабым голосом. — Поцелуй меня в последний раз.

Сердце Ромашова дрогнуло от жалости и любви. Впотьмах, ощупью, он нашел руками ее голову и стал целовать ее щеки и глаза. Все лицо Шурочки было мокро от тихих, неслышных слез. Это взволновало и растрогало его.

— Милая… не плачь… Саша… милая… — твердил он жалостно и мягко.

Она вдруг быстро закинула руки ему за шею, томным, страстным и сильным движением вся прильнула к нему и, не отрывая своих пылающих губ от его рта, зашептала отрывисто, вся содрогаясь и тяжело дыша:

— Я не могу так с тобой проститься… Мы не увидимся больше. Так не будем ничего бояться… Я хочу, хочу этого. Один раз… возьмем наше счастье… Милый, иди же ко мне, иди, иди…

И вот оба они, и вся комната, и весь мир сразу наполнились каким-то нестерпимо блаженным, знойным бредом. На секунду среди белого пятна подушки Ромашов со сказочной отчетливостью увидел близко-близко около себя глаза Шурочки, сиявшие безумным счастьем, и жадно прижался к ее губам…

— Можно мне проводить тебя? — спросил он, выйдя с Шурочкой из дверей на двор.

— Нет, ради бога, не нужно, милый… Не делай этого. Я и так не знаю, сколько времени провела у тебя. Который час?

— Не знаю, у меня нет часов. Положительно не знаю.

Она медлила уходить и стояла, прислонившись к двери. В воздухе пахло от земли и от камней сухим, страстным запахом жаркой ночи. Было темно, но сквозь мрак Ромашов видел, как и тогда в роще, что лицо Шурочки светится странным белым светом, точно лицо мраморной статуи.

— Ну, прощай же, мой дорогой, — сказала она наконец усталым голосом. — Прощай.

Они поцеловались, и теперь ее губы были холодны и неподвижны. Она быстро пошла к воротам, и сразу ее поглотила густая тьма ночи.

Ромашов стоял и слушал до тех пор, пока не скрипнула калитка и не замолкли тихие шаги Шурочки. Тогда он вернулся в комнату.

Сильное, но приятное утомление внезапно овладело им. Он едва успел раздеться — так ему хотелось спать. И последним живым впечатлением перед сном был легкий, сладостный запах, шедший от подушки — запах волос Шурочки, ее духов и прекрасного молодого тела.